

СИБИРИАДА

МИХАИЛ
ЩУКИН



КАТОРЖНАЯ
ВОЛЯ

Сибиряда

Михаил Щукин

Каторжная воля (сборник)

«ВЕЧЕ»

2017

Щукин М. Н.

Каторжная воля (сборник) / М. Н. Щукин — «ВЕЧЕ»,
2017 — (Сибиряда)

ISBN 978-5-4444-9176-8

На рубеже XIX и XX веков на краю земель Российской империи, в глухой тайге, притаилась неизвестная служилым чинам, не указанная в казенных бумагах, никому неведомая деревня. Жили здесь люди, сами себе хозяева, без податей, без урядника и без всякой власти. Кто же они: лихие разбойники или беглые каторжники, невольники или искатели свободы? Что заставило их скрываться в глухомани, счастье или горе людское? И захотят ли они променять свою вольницу на опеку губернского чиновника и его помощников?

ISBN 978-5-4444-9176-8

© Щукин М. Н., 2017

© ВЕЧЕ, 2017

Содержание

Каторжная воля	6
Глава первая	6
Глава вторая	30
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Михаил Николаевич Шукин

Каторжная воля

© Шукин М.Н., 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2017

Сайт издательства www.veche.ru

* * *

Каторжная воля

Глава первая

1

Короткий веселый дождик, внезапно упавший посреди июньского дня, приглушил звук далекого одинокого выстрела.

Никто этого звука в просторном доме Шабуровых не услышал, хотя окна были распахнуты настежь. Да и как могли его расслышать хозяева и гости, если все они самозабвенно пели, сидя за одним большим столом, поставленным в светлой, празднично прибранной горнице. Пели, хлебнув прохладной медовухи, от чистого сердца, в полное свое удовольствие, глядя друг на друга теплыми и ласковыми глазами. В такой редкий день по-иному они смотреть не могли, потому что встретились после долгой годовой разлуки. Ради дорогих гостей выставлено было богатое угощение и ради них, сердечных, хозяин, Макар Варламович Шабуров, согнал с лица привычную свою хмурость, расстегнул воротник новой рубахи и улыбался, подтягивая общей песне хрипловатым голосом.

На коленях у него сидел младший внук, названный в честь деда Макаром, мусолил беззубым еще ртом сладкий пряник и лупал черными шабуровскими глазенками, старательно разглядывая необычное для него многолюдьё. Внука Макар Варламович увидел сегодня впервые и, как подхватил его, снимая с телеги, так и не спускал с рук. Даже за стол сел вместе с ним. Маленький Макарка, видно, почуяв родную кровь, будто прилип к нему, не куксился, не присился к мамке, только побряхтывал время от времени, удобней устраиваясь на дедовских коленях.

Длинная песня закончилась, и все за столом зашумели, заговорили разом – много новостей и событий накопилось за целый год, и хотелось рассказать родным обо всем, что случилось и произошло после того, как они виделись прошлым летом.

Две шабуровские дочери, Галина и Зинаида, выданы были замуж на сторону, или, как говорили – за горы: в дальние деревни, укрытые за трудными переходами в верховьях реки Бурлинки. Добраться до них – надо потратить дня три-четыре, не меньше, а зимой, когда снег завалит перевалы, и вовсе невозможно. Поэтому к родительскому гнезду Галина и Зинаида вместе со своими мужьями, Егором и Трофимом, с детишками спускались обычно в начале июня, когда весенние хлопоты заканчивались, а сенокос еще не начинался.

К приезду гостей Макар Варламович и супруга его, Полина Никитична, всегда готовились загодя, обстоятельно, и широкий стол прогибался от угощений.

Сегодня к этому столу выбралась даже бабушка Агриппина, мать Макара Варламовича. От многих прожитых годов старушка была совсем ветхой, слепой, поэтому из светелки, где она пребывала, ее приходилось выводить под руки. Когда Агриппину усадили на почетное место, она потребовала, чтобы ей показали младшего правнука. Заодно и спросила, шелестя тихим голосом:

– Парень-то на кого похожий?

– На Шабуровых, матушка, на Шабуровых, – с гордостью отвечал ей Макар Варламович.

Агриппина подняла иссохшие, широкой кости руки, опутанные толстыми синими венами, огладила ладонями головку Макарки, и ее блеклые, морщинистые губы шевельнулись в довольной улыбке:

– Красивый парень-то, шибко красивый...

– Ты же не видишь, матушка! – хохотнул Макар Варламович. – Слепая, а говоришь – красивый!

– Шабуровы-то они все красивы! – последовал мгновенный ответ, и старческие губы снова шевельнулись в улыбке, а из глаз, затянутых белесой пленкой, скупно выкатились две слезинки.

За столом Агриппина посидела недолго – для приличия и для уважения гостей, но медовухи из рюмочки тонкого стекла пригубила и успела послушать общую песню, склонив набок голову в темном платочке. Но вскоре попросила, чтобы ее отвели обратно в светелку. Напоследок, всем поклонившись, сказала:

– Отгуляете седни, так не забудьте завтра на могилки сходить. Пускай Варлам Прохорович тоже порадуетя.

– Сходим, бабонька, сходим, – дружно заверили Галина и Зинаида, – попроведаем дедушку.

– Ну, сидите, с Богом, – еще раз поклонилась Агриппина и вышла из-за стола, негромко шаркая ногами по полу, опираясь на внучек, которые поддерживали ее с двух сторон.

В это время короткий дождик закончился, взамен ему брызнуло на зеленую землю блестящее солнце, и над округой, упираясь одним концом в Бурлинку, выгнулась крутая радуга, достав другим концом до самой макушки горы, которая называлась очень просто – Камень. Наверное, потому, что макушка ее была голой, без единой сосенки или елки, и казалась издали круглой речной галькой, которую неведомый озорник закинул под самое небо. В солнечном свете и в отблесках радуги Камень утратил свою обычную серость, чудилось даже, что он заблестел, словно помазанный маслом.

По правую руку от Камня высилась еще одна гора – Низенькая. Была она и впрямь ниже, и склоны имела пологие, но зато тянулась своей подошвой верст на пять, образуя вдоль берега Бурлинки широкую, пологую впадину.

Здесь, в этой впадине, поселился когда-то на голом месте Макар Варламович Шабуров вместе с молодой женой Полиной и со своими родителями. Срубили на скорую руку неказистую избушку, потому как разводить большое строительство было некогда – Камень уже закрывали осенние тучи, пузатые дождями, и надо было иметь крышу над головой до снегов и морозов. Теперь эта избушка, приспособленная под теплый сарай, покосилась от старости на один бок, утопив нижний венец в земле, но еще дюжила и служила исправно в большом шабуровском хозяйстве.

А хозяйство за долгие годы разрослось: рядом с избушкой поднялась изба-пятистенка, а следом за ней – большущий, как корабль, двухэтажный дом с высоким резным крыльцом и островерхой крышей, покрытой железом. Все три строения вместе с амбарами, сараями и конюшней обнесены были глухим заплотом, а дальше, за заплотом, тянулись скотные дворы, пригоны и загородки из длинных жердей, в которых высились стога сена, не израсходованного за зиму.

Пашню Шабуровы не пахали, хлеба не сеяли, а жили за счет скотины – три-четыре стада каждый год паслось и откармливалось на сочных лугах. По осени заматеревших бычков и телочек стогнали вниз, в долину, в волостное село Чарынское, и там продавали скопом местным прасолам¹.

Содержать такое хозяйство одному было, конечно, не под силу, и Макар Варламович нанимал работников, иные из них жили с семьями, и ниже по течению Бурлинки выросла со временем маленькая деревушка, названная по речке – Бурлинская.

¹ Прасол – оптовый скупщик припасов (мяса, рыбы) для дальнейшей перепродажи.

Будни, прерываемые редкими праздниками, текли неторопливо, спокойно, и никто на судьбу не жаловался. Правда, имелась в шабуровской семье одна тайна, но вслух про нее никогда не говорили, потому что любое упоминание о ней Макар Варламович властно пресекал грозным окриком, и послушаться его никто не мог – нравом он был суров. Но сегодня, за праздничным столом, хозяин благодушествовал, и время от времени припрашивал у супруги:

– Мать, обнеси-ка нас еще разок медовушкой!

Полина Никитична послушно наклоняла деревянный лагушок, щедро наливала в кружки пенную хмельную влагу и только спрашивала своих зятьев:

– Из-за стола-то встанете?

Намекала, что от медовухи голова светлая и трезвая, а вот ноги не слушаются.

– Встанем, мать, встанем! – похохатывал Макар Варламович. – А коль не поднимемся, на лавки ляжем!

Плавню тянулся душевный разговор и не иссяк бы он, как и в прошлые приезды дочерей, до самого вечера, но в этот раз не случилось...

Сначала послышались в раскрытые окна ребячьи крики – тревожные, громкие, будто стаю грачей спугнули. Затем простучали по ступенькам высокого крыльца проворные пятки – и двое старших внуков, Илюшка с Максимкой, залетели в горницу с вытаращенными глазами. От скорого бега парнишки не могли перевести дыхания, говорили отрывисто, наперебой, и никто поначалу не мог понять – по какой причине они так всполошились?

– Выстрелил... Рыбачили... Удочки бросили...

Да что за оказия приключилась?!

В конце концов парнишки отдышались, и от них удалось добиться ясности: сидели они с удочками на берегу Бурлинки, когда пошел дождь, и собирались уже домой, чтобы не мокнуть, но увидели на другом берегу оборванного дядьку, который едва выцарапался из густого ельника. Шарахался дядька из стороны в сторону, будто пьяный, но до воды все-таки добрался. Остановился у самой кромки, стащил с плеча ружье, выстрелил вверх и упал на спину. Лежит и не шевелится...

– Ну-ка, ребята, пойдем глянем – какого такого стрелка к нам принесло? – Макар Варламович первым поднялся из-за стола. Следом за ним – Егор с Трофимом.

Скоро они уже стояли у реки и глядывались в противоположный берег. Там на мелкой гальке лежал человек, крестом раскинув руки, и впрямь не шевелился – как умер.

– Давайте лодку, ребята, – скомандовал Макар Варламович, – вблизи надо посмотреть – дышит он или нет?

Егор с Трофимом столкнули лодку, сели за весла, пересекли наискосок Бурлинку, одолевая стремительное течение, и вот уже протяжно донеслось:

– Живой он, тятя! Чего делать? К нам перевозим?

– Везите! – крикнул в ответ Макар Варламович, махнул рукой и добавил негромко: – Не бросать же его, не зверушка.

Человека погрузили в нос лодки, рядом положили ружье, и весла снова упруго ударили по воде.

– Ну, и кто ты такой, откуда явился? – Макар Варламович наклонился над незнакомцем, когда зятья вынесли того из лодки и уложили на траву. – Эх, тебя потрепало-то! Будто из преисподней вылез.

Вид у человека и впрямь был аховый: вся одежонка изодрана в ремки, даже кожаные сапоги разбиты вдрызг, подошвы отстали и торчали наружу грязные, замусоленные портянки. Лицо, наполовину скрытое длинной свалывшейся бородой, покрывали синяки и царапины, иные из них еще не засохли и сочились сукровицей. Дышал он, разевая рот, рывками и всякий раз в груди у него хрипело и булькало. На голоса не отзывался, а глаза были крепко прижмурены.

– Берите его, ребята, понесли в дом, лечить будем. Чего на него любоваться? – Макар Варламович крикнул, будто перед тяжелой работой, и ухватил неожиданно появившегося пришельца за ноги. Егор с Трофимом подхватили бедолагу за руки. Понесли.

Полина Никитична вместе с дочерьми стояла на крыльце. Когда мужики со своей ношей поднялись по ступеням, она ахнула, замерла на мгновение – и тонкий, протяжный крик заставил всех вздрогнуть:

– Фе-е-де-е-нь-ка-а!

От неожиданности Макар Варламович разжал руки, и каблуки сапог пришельца глухо стукнули о доски крыльца. Какой Феденька?! Нет, и не может здесь быть никакого Феденьки! Даже шумнул на супругу, чтобы зря не блажила, но Полина Никитична продолжала кричать, и лицо у нее становилось белым, словно его присыпали известкой.

Мать не ошиблась, и не могла ошибиться, потому что не глазами, а сердцем своим сразу признала сына. Отец не признал, а мать... На то она и мать...

Будто кипятком обожгло Макара Варламовича. Он крутнулся на месте – и тяжелый кулак со всего размаха ударил в перила крыльца с такой силой, что перила вздрогнули. Черные глаза сверкнули злым отсветом, и голос загремел, как лист железа, сброшенный с высоты:

– Нет у нас такого! Уноси! Кому сказал – уноси обратно! Бросьте, где взяли!

– Не да-а-м! – И Полина Никитична, раскинув руки, как делает это птица, распахивая крылья, когда защищает гнездо с детенышами, кинулась на край крыльца, заступая дорогу зятьям, чтобы не вздумали они уносить Федора на берег Бурлинки. Столько в ней было отчаянной решимости, таким страшно белым было ее лицо, что Егор с Трофимом даже не посмели шевельнуться и стояли в растерянности, не зная, кого послушаться.

– Лучше зарежь меня. – Голос Полины Никитичны опустился с крика до свистящего шепота. – Или прибей сразу... А пока жива – не дозволю! Сколько я слез выплакала! В дом несите!

Не случилось такого в семейной жизни, чтобы Макар Варламович от своих слов отступился. Отступить для него – все равно что через себя перешагнуть. А в этот раз – сломался. Понял, что не имеет он сейчас власти над своей супругой, вышла она из его воли и пересилить Полину Никитичну невозможно. Разве, что прибить... Еще раз сверкнули черные глаза злым огнем, еще раз вздрогнули перила от удара могучего кулака, и широкие ступени крыльца охнули под тяжелыми, сердитыми шагами. Уходил со своего двора Макар Варламович и не оглядывался, давил ногами молодую, не притоптанную еще траву, и в глазах у него стоял горячий туман, будто ослеп на короткое время. Остановился, когда дошел до берега Бурлинки. Забрел по колено в речку, плеснул в лицо холодной водой, выпрямился и тоскливо повел вокруг взглядом, словно желал уяснить для себя: по какой причине он здесь оказался?

Увидел лодку, приткнутую к берегу, а в ней, в носу, ружье, которое позабыли взять в суе и спешке. Оскальзываясь на гладких речных камнях, дошел до лодки, вытащил за исшорканный ремень старенькую берданку, передернул затвор – пусто. Последний патрон выстрелил блудный сын Федор, добравшись до родного гнезда.

2

А как он радовал и веселил отцовское сердце, пока не случилась история, которая и была тайной шабуровской семьи.

Началась она, эта история, в селе Чарынском, куда спустился Макар Варламович вместе с Федором и с работниками-пастухами поздней осенью, перед самыми заморозками. С гуртом тогда крепко намучились, потому что два раза попадали под дождь, дорога на спусках взялась грязью, и больше всего боялись, чтобы какая-нибудь животина не оскользнулась и не переломала ноги. Тогда пришлось бы ее резать посреди дороги, в слякоти и под дождем, а

после попробуй такое мясо всучить по хорошей цене хитрому и дошлomu прасолу... Но все обошлось – ни одна животина не покалечилась, и в Чарынское пригнали ровным счетом сто голов. Не больше и не меньше. С прасолом сторговались быстро, рассчитались с работниками, а на постой остановились у местного лавочника Курицына, с которым Шабуров-старший знал уже не первый год. Закупал у него припасы, конскую сбрую и всякую хозяйственную мелочь. Много закупал, чтобы хватило до следующей осени. Все это добро грузили на пять-шесть подвод и отправлялись домой.

В этот раз, в памятный приезд, в Чарынском задержались, потому что имелось важное дело – требовалось найти знающего человека, который поставил бы в шабуровском хозяйстве кузницу. Ну, и, само собой, стучал бы в ней. Надоело возить в несусветную даль всякую нужную железку, даже гвозди, вот и решил Макар Варламович, что пора обзавестись собственной кузницей со своим нанятым кузнецом. Курицын, когда он обратился к тому с просьбой подсказать нужного человека, сразу замахал руками – нету здесь такого, все мастера наперечет и на вес золота, и никто из них в неведомую далищу, к черту на кулички, не поедет. Хитрил, конечно, лавочник, понимал, что никакой ему выгоды не светит, если Шабуров найдет нужного человека. Не будет он тогда покупать его скобяной товар, своей кузницей обойдется. А это, как ни крути, убыток... И так горячо убеждал Макара Варламовича, что тот сразу же догадался – есть такой человек, надо только найти его, без помощи лавочника. Отправился на базар, потолкался среди народа, поговорил, в трактир заглянул, чайку попил с пирогами, – и после обеда знал уже точный адрес, а нужный домик нашел по звонкому стуку молотка о наковальню.

Неважный, надо сказать, домик стоял на окраине села. Черный от старости, просевший сгнившими венцами так низко, что подслеповатые окошки едва не доставали до земли. Такая же невзрачная, словно приклепнутая, рядом виднелась кузница, из которой слышался веселый перестук. Низенькая, покосившаяся дверца была распахнута, и виделось, как в полутьме ярко вспыхивают быстрыми огоньками угли в горне. Макар Варламович перешагнул через порожек и, громко кашлянув, известил о своем приходе:

– Бог в помощь, люди добрые! Разговор к вам имеется. Можно потолковать?

– За разговоры денег не берем, можно и потолковать, – донеслось ему в ответ, и стук молотка прекратился, – проходи на лавочку, я скоро...

Макар Варламович вышел из кузницы, увидел возле дома лавочку и присел на нее, с любопытством оглядываясь вокруг. Не только домик, но и вся усадьба вокруг имели странный вид, будто прибежали люди, наспех наладили жильё, чтобы на голову не капало да тепло было, и не завтра, так послезавтра снова снимутся с места, чтобы бежать дальше. В палисаднике с повалившейся оградкой даже кустика не имелось, только густо поднималась дурная трава.

Скоро подошел и кузнец. Встал перед гостем, широко расставив ноги, и неторопливо стащил с себя кожаный фартук. Был он высокого роста, сухой, поджарый, как охотничья собака, а голову имел абсолютно лысую, потную и испятнанную сажей.

Вокруг да около Макар Варламович топтаться не стал, выложил сразу – какая нужда его сюда привела, и сразу же цену назвал, какую положит за работу, а еще добавил, что желает он изделия посмотреть, какие кузнец кует, а то, может статься, и разговора заводить не стоит, если изделия эти кривые и косые...

Выслушал его кузнец, запрокинул лысую голову, словно хотел что-то разглядеть в низком осеннем небе, и неожиданно в голос расхохотался.

– Чего ржешь, как жеребец стоялый?! – рассердился Макар Варламович. – Чего я тебе потешного сказал?

– Да ты не сердчай, хозяин. – Кузнец бросил фартук на лавочку и сам присел рядом. – Я не над тем смеюсь, что ты сказал, а сон вспомнил. Сон мне ночью приснился, что пришли меня на работу нанимать. Я так обрадовался, вот, думаю, заживу! А как обрадовался, сразу и проснулся! Весь день переживаю, что сон не в руку! А оно, смотри, как вышло... Ладно,

вижу, что человек ты серьезный, и я скажу серьезно – подходят мне твои условия, и плата глянется, а что касается изделий – ступай погляди. Я за свою работу не стыжусь. Только одна закавыка имеется, хозяин. Мне еще и молотобоец нужен, мой молотобоец, без него никуда не поеду.

– Ну и его бери, ему тоже плату положим, – легко согласился Макар Варламович.

– погоди, ты сначала глянь на него.

– Мне с ним не целоваться, чего глядеть? Не девку замуж зову, а работника.

Кузнец снова расхохотался, запрокинув голову, но в этот раз смех оборвал быстро, и разъяснил:

– Девка у меня в молотобойцах, понимаешь, хозяин. Эй, Настя! Пойди сюда!

Вот тебе и диковина!

Макар Варламович даже опешил от неожиданности, когда летучей походкой подошла к ним красавица. И хотя одета она была в старую домотканую юбку и в застиранную, в заплатках, кофту, хотя на голове у нее был повязан толстый темный платок, все равно сразу выделось – красавица. И статью, и лицом. Прежде чем выйти из низенькой кузницы, она успела наскоро умыться, и на длинных, коромыслами изогнутых бровях еще сверкали непросохшие капельки, и так же сверкали большущие карие глаза, в которых плескалось веселое любопытство.

– Вот, значит, Настя, а я, значит, Степан Койнов, по батюшке Иваныч. А тебя, хозяин, как звать-величать будем?

Буркнул Макар Варламович, как его зовут-величают, а сам смотрел на девицу – и начало его одолевать сомнение: невиданное все-таки дело, чтобы в кузнице баба хозяйничала, может, на попятную пойти, пока не поздно...

– Да ты не бери в голову, хозяин, – заверил его Степан, – у Насти рука твердая, не всякий мужик такую руку имеет. А теперь пойдём глянем, чего мы с ней делать умеем.

Не поленился Макар Варламович, прошел еще раз в тесную, пропахшую дымом и окалиной кузницу, поглядел, потрогал лежавшие в деревянных ящиках изделия и не нашел к чему придраться: что подковы, что топоры, что ободья для колес и бочек, что дверные петли – все было сработано без изъянов, чистенько. Глаз радовался.

Здесь же, в кузнице, ударили по рукам и договорились, что через два дня Степан Койнов управится со сборами, а на третий день, пораньше утречком, выедут они из Чарынского.

По дороге Макар Варламович принялся расспрашивать своего нового работника: почему жилище у него, мастерового человека, в таком запущенном виде находилось, а еще спрашивал, какого он рода-племени, какими ветрами в Чарынское занесло и кем ему девка Настя доводится – может, полюбовница?

Степан посмурнел, на скулах желваки заходили, но ответил:

– Настя, хозяин, племянницей мне доводится. В Каинске раньше жили, пимокатным делом я занимался, а в Чарынском по горю оказался. Дом у меня сторел, со всеми моими домочадцами, с женой и с ребятишками, а рядом дом брата стоял, тоже запылал ночью, никто выскочить не успел. А я как раз в отъезде был, и Настя со мной увязалась, поэтому и целыми остались. Вернулись утром, а там бревна дошаивают... Я после много мест поменял, да только покоя нигде не нашел, вот и в Чарынском его нету, а если живешь, как перелетная птица, зачем гнездо вить, все равно улетать придется... Может, в твоей глухомани душа успокоится... Вот так, хозяин, доложил я тебе, а больше меня не пытай, мне про это рассказывать – как гвоздем в болячке ковырять.

Макар Варламович лишь головой кивнул, давая знак, что человек он понятливый и расспрашивать Степана о прошлой жизни больше не будет.

Той же осенью из толстых листовенных кряжей срубили кузницу, поставили горн и наковальню, которые Степан привез из Чарынского, и, когда упал первый снег, впадина огла-

силась звонким перестуком молотков. Макар Варламович отставил в сторону лопату, которой откидывал снег от крыльца, сдвинул набок шапку, прислушиваясь, и весело окликнул сына:

– Чушь, Федя?! Стучат! Не промахнулся я – добрый кузнец!

Федор в это время вытаскивал из сарая сани, а на освободившееся место закатывал телегу – раз снег выпал, значит, колеса на полозья надо менять. Остановился, тоже прислушался и отозвался:

– А весело у них получается, тятя! Слушаешь, и душа радуется! Я пойду, гляну?

– Сходи, сходи, а после и я зайду.

Не думал в тот день Макар Варламович, не гадал и представить даже себе не мог, что, отправляя сына в кузницу посмотреть на работу мастеров, он отрезал Федора от семьи, от хозяйства, как отрезают острым ножом ломоть от хлебной краюхи.

Но это после, по прошествии времени, выяснилось.

И первой неладное заметила Полина Никитична. Месяца через два она завела разговор с супругом:

– Ты бы, Макар Варламович, потолковал с Феденькой, внушил бы по-родительски – не следует ему в каждый час в кузню бегать. Как бы симпатии не случилось. Нам безродная девка в семью не нужна. У ей приданого – один молоток.

Слова супруги Макар Варламович пропустил тогда мимо ушей. Ну, любопытно парню поглядеть на новое для него ремесло, пусть поглядит, ремесло, как говорится, за спиной никогда не висит, всегда пригодится. Сам он мастеровых людей уважал, относился к ним с почтением и считал, что настоящий хозяин должен уметь работать и топором, и долотом, и косой, и головой. Главное – головой, которой всегда думать надо, заранее и обстоятельно. О будущем сына глава шабуровского семейства давно уже озаботился и линию жизни для Федора прочертил: на следующую осень, на Покров, он собирался его женить, а затем, после женитьбы, не торопясь, складывать на молодые плечи хозяйские заботы. С таким расчетом, чтобы к старости все нажитое находилось в верных руках. А сам он к тому времени внуков бы тетешкал и на печке кости грел.

На Федора грех было обижаться. Вырос парень работающим, послушным и ни разу родителям слова поперек не сказал. На него и глянуть было приятно: высокий, кудрявый, лицо улыбочное и нос курносый, так и тянет при разговоре с ним беспричинно улыбнуться. Невесту для него Макар Варламович с Полиной Никитичной уже выглядели, в деревне, куда выдали старшую дочь Галину. Семья небедная, девица работающая и собой ладная. Чего еще, спрашивается, нужно? Сыну до поры до времени ничего не говорили, а вот с родителями невесты успели обмолвиться, и те согласно кивнули.

Зимой жизнь во впадине и во всем большом шабуровском хозяйстве замерла – снег завалил въезды и выезды. Бурлинка встала, покрывшись льдом, а к скотным дворам, отоцвав от бескормицы, по ночам беззвучно подбирались волки. Когда их отпугивали выстрелами и стуками колотушек, они далеко не уходили, располагались где-то на склонах Низенькой и выли до самого рассвета, пугая скотину во дворах и коней в конюшне.

После одной из таких ночей, несколько раз проснувшись от волчьего воя, Макар Варламович решил хорошенько проучить серых, так проучить, чтобы они забыли дорогу к поместью и откочевали в другое место. Возиться с падалью и прикармливать волков, а после на их тропе выставлять капканы ему не хотелось – слишком уж долго и хлопотно; сидеть в схроне и караулить – это по ночам не спать, поэтому решил – на поросенка. Охота простая, скорая да и кровь веселит. Федор, услышав об этом, сразу же загорелся, кинулся помогать, и к тому времени, когда спустились ранние осенние сумерки, у них все уже было готово: в оглобли саней запрягли крепкого, быстрого хода жеребца, к задку саней привязали веревку, а к веревке – небольшой мешок, туго набитый сеном. За вожжи взялся сам Макар Варламович, а Федор уселся за ним, крепко придерживая двумя руками еще один мешок, в который засунут был поросенок. В нем,

в этом поросенке, и заключалась главная соль охоты: надо было ехать по накатанной тропе и время от времени крутить поросенку уши, чтобы он повизгивал. По тропе, подпрыгивая, тащится мешок с сеном, поросенок визжит пронзительно, и кажется, что он бежит за санями, стараясь не отстать. На такую легкую поживу оголодавшие волки, забыв о своей осторожности, обязательно должны клюнуть.

Они и клюнули.

Проехали Макар Варламович с Федором совсем немного и скоро заметили, что из ельника выскользнули волки. Ночь выдалась лунная, и хорошо виделось, как они бегут гуськом, быстро набирая ход. Не отставая, неслись по снегу их большие тени.

Теперь самое главное – не зевнуть. Ружья заряжены, надо лишь не торопиться и бить только наверняка. Ударили два выстрела почти разом, и два волка, которые успели вырваться вперед, ломая строй и заходя сбоку, кувыркнулись, замолотили лапами, взметывая снег. Дело оставалось за малым: перезарядить ружья и срезать еще пару, если удастся, если не успеют хитрые звери кинуться назад, когда их уже не достать прицельными выстрелами.

Но вот малого-то и не случилось.

Жеребец от выстрелов или потому, что учуял волков, мигом сбился с ровного хода, вздыбился и ринулся в сторону так сильно, что затрещали оглобли. Сани едва не встали набок. Федор, как песок с лопаты, слетел в снег, выронив ружье, и очумело барахтался, пытаясь встать на ноги. Макар Варламович успел перехватить вожжи, потянул их изо всех сил, чтобы привести жеребца в послушность, но тот продолжал ломиться вбок, в правую сторону, наверное, по простой причине – стремился туда, где была его родная конюшня и где он надеялся найти укрытие.

Поросенок бился в мешке и верещал, как недорезанный.

Этот визг, похоже, и вышиб из голодных волков последнее чувство опасности – они не повернули назад, не кинулись врассыпную в разные стороны, будто и не услышали вовсе выстрелов, будто и не заметили, что стая их поредела. Как бежали, так и продолжали бежать, откидывая на снег летящие тени.

Бежали они напрямиком на Федора.

Макар Варламович бросил вожжи, схватил ружье – скорей, скорей, перезарядить... Но руки, как в таких случаях водится, вздрагивали и плохо слушались. Волки все ближе. Федор вынырнул из снега, побежал к саням. Не успеет – волчьи ноги быстрее человеческих. И патрон никак не желал залезать в ствол. Макар Варламович заорал, срывая голос. Но голос его зверей не испугал, только подстегнул, и матерый волчище вылетел вперед, настигая Федора, готовясь прыгнуть ему прямо на спину.

И в этот самый момент, когда показалось, что уже нет спасения, будто темная молния мелькнула. Вонзился между Федором и настигавшим его волком конь, на котором сидел всадник, вздымая над головой длинный стяжок². Всадник чуть приподнялся на стремянах – и стяжок обрушился вниз, переламывая волчий хребет. Еще один взмах стяжка – и еще один волк с разгону отлетел в сторону, затрепыхался, бессильно вскидываясь, перебирал в воздухе лапами, словно продолжал бежать.

Наконец и патрон вошел в ствол. Выстрел прогремел оглушительно, а заряд крупной самодельной картечи попал точно в цель, и тонкий предсмертный вой жалобно взмолил под самое небо. Оставшиеся волки, бороздя снег низко опущенными хвостами, бросились назад к спасительному ельнику, из которого они вышли, надеясь на поживу, совсем недавно.

Еще три раза стрелял им вслед Макар Варламович, но всякий раз – мимо. Федор опирался на задок саней, хрипел и задыхался, а всадник, соскочив с седла, деловито добивал стяжком все еще трепыхающегося волка.

² Стяжок – толстая, чаще березовая, палка с утолщением на конце.

Поохотились...

Когда сын с отцом пришли в себя, перевели дух, а жеребец перестал дергаться в оглоблях, к ним неторопливо подошел всадник, только что спасший их, и спросил ровным, веселым голосом:

– А поросенок-то не сдох? Почему молчит?

От неожиданности и удивления Макар Варламович даже присел на передок саней, будто у него ноги подкосились. До поросенка ли?! Пусть он хоть век молчит! Другое поразило, голос-то у всадника был женский, а когда пригляделся, и вовсе опешил: Настя! Вот тебе и племянница кузнеца Степана, вот тебе и девица с крутыми, как коромысла, бровями и с румянцем на щеках. Двух волков стяжком угрохала. Такая и двух мужиков за пояс заткнет, если понадобится. Макар Варламович, до конца не одолев растерянности, только и нашелся что спросил:

– Тебя каким ветром надуло?

– Попутным, – рассыпала звонкий смех Настя и голову вверх запрокинула, точь-в-точь как ее дядька Степан, – еду мимо, гляжу, а Феденьку волки есть собираются! Как же красавчика такого не выручить?

Продолжая смеяться, она подобрала шапку, оброненную Федором, надела ему на голову и – не укрылось от цепкого взгляда Макара Варламовича, заметил, как зарубку сделал – скользнула ладонью по щеке парня, словно приласкала мимолетно. А после вспрыгнула на коня, прямо с земли – в седло, и ускакала, как растаяла.

Видение, да и только!

Поросенок, словно очнувшись, заверещал с новой силой – тонко и пронзительно.

– Лихоманка тебя задери, – ругнулся Макар Варламович, – хватит голосить, а то в снег кину! Волки в один жевок схрумкают. Федор! Садись в сани, поехали. Утром рассветет, вернемся...

– Погоди, тятя, ружье...

Федор отыскал в снегу ружье, тяжело плюхнулся в сани, и жеребец, не дожидаясь, когда его подстегнут, кинулся вперед стремительной рысью.

Утром подобрали убитых волков, сняли с них шкуры, и Макар Варламович подступил к сыну с расспросами. Обо всем спрашивал, по порядку: и когда Федор успел с Настей снюхаться, и почему она оказалась на тропе ночью, да еще со стяжком, и где научилась девка такому ремеслу – волкам хребты ломать с одного удара?

Видно было, что не по нраву Федору отцовские расспросы. Хмурился, отворачивался в сторону, говорил коротко и неохотно, но честно. Не стал врать и отнекиваться, отвечал как на духу. В то время парень еще в отцовской воле находился и в послушании перед родителем. И вот какая картина нарисовалась из его скупых ответов: оказывается, давно уже глянется ему Настя, еще с того времени, как увидел ее в первый раз в Чарынском. И он ей тоже глянется. А что с конем ловко управляется и со стяжком может на волка охотиться, так этому ее дядька Степан обучил; она еще и из ружья стреляет без промаха и любого зверя может по следу добыть... О том, что на охоту с отцом собирается, Федор ей сам рассказал, вот поэтому она и оказалась на тропе.

– Охраняла, значит, своего залеточку, – раздумчиво протянул Макар Варламович, – дивно, дивно... Можно сказать, от смерти оберегла. Отблагодарить надо девку, поклониться ей следует. Пойдем, поклонимся, мы люди не беспамятные, добро ценим. Ты погоди, я в дом зайду.

Он поднялся на крыльцо, скрылся в доме, а Федор остался на дворе – и хмурость с его лица, как водой смыло. Радовался парень от всей души, услышав отцовские слова про благодарность, доброе лицо его светилось, и в мыслях своих, наверное, улетал он далеко и высоко. Но вот отец показался на крыльце со свертком под мышкой, и Федор перестал улыбаться, лишь глаза светились по-прежнему. Догадался он, что в свертке подарок для Насти, но вида,

что догадался, не подавал. А Макар Варламович, ничего не объясняя, велел запрячь жеребца, уселся в сани и приказал ехать напрямик в Бурлинскую, где Степан с Настей еще осенью поселились в маленькой избенке на самой окраине. Прежний хозяин этой избенки, старый бобыль, к тому времени помер, вот и пригодились хоромы.

Подъехали, вошли в низкие двери, и в избенке сразу стало тесно. Хозяева при виде неожиданных гостей растерялись. Степан смущенно скоблил пятерней лысину, Настя, отложив шитье в сторону, поднялась из-за стола и принялась крутить на указательном пальце железный наперсток. Щеки зарумянились, карие глаза потемнели. Макар Варламович поздоровался и развернул сверток, в котором оказалась большая шаль фабричной выделки с яркими цветами, а вдобавок к ней еще и добрый кусок китайки³, в который Настю можно было два раза завернуть.

– Прими, Анастасия, благодарность нашу за выручку, шаль носи на здоровье и кофты себе шей.

– Спаси Бог вас, Макар Варламович, – поклонилась Настя, приняв подарки.

– Да вы проходите, проходите, – заторопился Степан, – чаю попьем...

– Нет, чай пить не будем. – Макар Варламович отступил к порогу, где топтался Федор, и продолжил: – А чай потому пить не будем, что родниться я с вами не собираюсь. За выручку, Анастасия, поклон тебе еще раз, а про Федора моего забудь и всякую задумку про него из головы выкинь. Не будет такого, чтобы вы слюбились, а чтоб в семью нашу войти – я не дозволю. Ни тебе, Анастасия, ни тебе, Федор. Уразумели? Если поперек моей воли пойдете...

И не договорил Макар Варламович, посчитал, что все нужные слова он уже сказал. Распахнул низенькую дверь и толкнул в узкий проем Федора, который за все это время и рта не успел раскрыть. Вслед им ни слова, ни звука не донеслось.

Шабуровы сели в сани и молча поехали домой.

С этого дня Федора словно в хребте перебили березовым стяжком, хотя он не горбился и ходил, как и прежде, прямо. Но сник парень, перестал улыбаться и глаза уже не светились радостным светом, будто покрылись белесой пленкой, как у слепой бабушки Агриппины. Он ни о чем не просил, разговоров не заводил, исправно работал по хозяйству, оставаясь по-прежнему послушным, и казалось, что смирился с отцовским решением. Полина Никитична, конечно, жалела сына, даже втихомолку плакала, искренне позабыв совсем недавние свои слова о безродной девке и молотке в приданое. Макар Варламович, ни капли не беспокоясь, думал по-своему: «Дурь пройдет и жизнь наладится».

Дурь не прошла, а жизнь сделала крутой зигзаг.

По весне, когда Бурлинка взломала лед и с грохотом унесла его вниз по течению, Федор бесследно исчез из дома. А вместе с ним, так же бесследно, исчезли Степан и Настя.

Стоял Макар Варламович в пустой избенке, из которой вынесли скудное убранство, смотрел на голый дощатый стол, а на столе лежали китайка и старательно сложенная цветастая шаль. Не приняла, выходит, Настя эти подарки. Она, выходит, другой подарок себе затребовала.

В горячке и в злости хотел Макар Варламович в погоню удариться, но одумался – где их искать, куда они ушли? Вниз, в Чарынское, или в горы направились? И в какую сторону, если в горы?

Долго стоял, долго глядел на шаль с китайкой, и пока стоял, решил: если сбежал сын из родного дома с девкой безродной, значит, нет больше у него сына. Нет и не будет.

Вечером, уже в потемках, он столкнул с берега свою лодку и пустил ее вниз по течению. Лодка после долгой зимы рассохлась, проконопатить ее руки еще не дошли, и она быстро стала набирать воду. «Где-нибудь да выкинет», – думал Макар Варламович, глядя ей вслед. Домашним же, вернувшись с берега, сказал так:

³ Китайка – материя.

– Федор на лодке поплыл, перевернулся, видно, и утонул. А Настя со Степаном куда-то в другое место ушли. Запомнили? Так всем и говорите.

Никто его не слушался.

А затонувшую и перевернутую вверх дном лодку, действительно, прибило к берегу – верст через семь, ниже по течению.

3

Было это три года назад.

И вот Федор вернулся.

Где он находился все это время, как жил, чем занимался и по какой причине оказался на берегу Бурлинки в рванье и в нищем виде, даже заплечного мешка не имелось, никто не знал и, соответственно, ничего вразумительного сказать не мог. Лишь одно обстоятельство для всех было ясным – нахлебался парень тяжелой жизни по самые ноздри.

Двое суток он не приходил в себя. Метался на деревянной кровати, хрипел, словно его душили, временами покрывался обильным потом, будто из речки выныривал, иногда вскрикивал:

– Настя! Настя! Я здесь! Обними, Настя, холодно! Вода ледяная!

Но чаще кричал иное:

– Коня не отпускай! Пропадем! Телегу держи, телегу!

И всякий раз, когда вскрикивал и твердил кому-то неизвестному про телегу и про коня, взмахивал в бреду руками, словно хотел за что-то уцепиться и не пропасть.

Полина Никитична, напрочь забыв про гостей, не отходила от сына ни на одну минуту и ни на один шаг. Даже спала рядом, постелив себе постель на лавке. Поила сына травяными отварами, обтирала пот с лица полотенцем и молилась каждый вечер, зажигая перед иконой Богородицы толстую восковую свечу. Не плакала, не голосила, слезинки не выронила, только с лица осунулась и стала неразговорчивой. Веселье, царившее в шабуровском доме совсем еще недавно, разладилось, и скоро Галина с Зинаидой собрались уезжать. Отговаривать их никто не стал.

После отъезда гостей в доме установилась тревожная тишина. Макар Варламович с утра до вечера занимался делами по хозяйству, Полина Никитична неотлучно находилась при Федоре, и получалось так, что между супругами встала невидимая стена. Причина, конечно, была в сыне. Не мог Макар Варламович смириться, что дал слабину и пустил в дом Федора, которого давно уже считал отрезанным ломтем, а Полина Никитична, наоборот, благодарила Бога за возвращение родной кровиночки и ни капли не сомневалась, что выходит его и поставит на ноги.

Неизбывная материнская любовь, говорят, и из гроба поднимет.

Сначала Федор перестал вскрикивать, размахивать руками, затем затих, а под вечер поребзячи свернулся калачиком и тихо, чуть слышно посапывая, уснул. Проспал всю ночь, утром открыл глаза, повел взглядом, узнавая родные стены, увидел Полину Никитичну, дремавшую на лавке, и негромким голосом спросил:

– Мама, я как здесь очутился? Неужели сам дошел?

Полина Никитична встрепенулась, по-молодому соскочила с лавки и пересела на кровать, дав полную волю слезам, которые так долго сдерживала. Федор гладил ее острые, худые плечи, успокаивал:

– Не надо, не плачь, живой же... Вот полежу и встану...

Но в то утро он еще не встал. Снова свернулся калачиком и уснул – на целые сутки. А когда проснулся, попросил окрепшим голосом:

– В баньку бы мне, мама, и поесть чего-нибудь, проголодался я...

Улыбнулся застенчиво – и на лице его, побитом, с цветными синяками, обросшем грязной клочковатой бородой, тихо засветились глаза прежнего Федора, доброго, послушного парня. Такого родного, что Полина Никитична снова залилась слезами. Но скоро успокоилась и принялась хлопотать. Накормила сына наваристой мясной похлебкой, собрала белье в баню, сама, как сумела, подстригла ему бороду, попутно рассказывая, как он оказался дома. Федор слушал ее и только головой покачивал, видно, сам удивлялся, что добрался до берега Бурлинки и смог еще выстрелить из берданки.

Пока Федор парился в бане, Полина Никитична накрыла стол, будто для гостей, выставила медовуху, ожидая, что к обеду пожалует Макар Варламович. Втайне она надеялась, что супруг все-таки обрадуется выздоровлению сына и не будет показывать суровый нрав.

Но Полина Никитична ошиблась, и надежды ее оказались напрасными.

Едва лишь перешагнул хозяин порог своего дома, едва лишь увидел за накрытым столом сына, распаренного после бани и наряженного в белую рубаху, так сразу и встал, будто запнулся о невидимую преграду.

– Я уж все приготовила, тебя ждем, – засуетилась Полина Никитична, – воды вон в рукомойник налила...

И протягивала Макару Варламовичу чистое полотенце, но тот властно отстранил ее тяжелой рукой, будто убирал со своей дороги, и коротко спросил:

– Очухался?

Федор застенчиво улыбнулся и молча кивнул.

– Ну и ладно. Три дня еще поживи, откормись – и ступай со двора, чтобы я тебя здесь не видел.

Развернулся сердито, так, что каблуки сапог скрипнули, и вышел из дома, не закрыв за собой дверь. Полина Никитична комкала в руках полотенце, смотрела ему вслед зовущим взглядом, но останавливать и уговаривать не кинулась. Понимала – в этот раз ей супруга не пересилить. Обессиленно присела на лавку и охнула, будто ее ударили.

– Да ты не отчаивайся, мама. – Федор вышел из-за стола, склонился над ней, обнимая за плечи. – Живой, слава богу, а остальное наладится...

– Как наладится?! Как наладится?! Куда пойдешь?! Где жить станешь?! – Полина Никитична подняла на сына глаза, мокрые от слез, и голос у нее зазвенел от отчаяния: – Я ведь тебя похоронила, думала, что не увижу больше! Ты где был целых три года?! Почему весточку не послал?

– Прости, мама, не мог я весточку послать, а где был... Где был, там меня теперь нет.

Через три дня Федор ушел из дома, так и не рассказав матери, где он находился все эти годы. Пообещал лишь, что, как устроится на новом месте, обязательно подаст весточку.

4

И надо же было случиться столь дивному совпадению: сон этот, странный и сладкий, приснился ровно два месяца спустя после памятного события, день в день. Ясно, как наяву, увидел Сергей Лунегов в своих руках маленький альбом с золотым обрезом, обтянутый зеленым бархатом. На углах листов, на гладкой лощеной бумаге, красовались алые и желтые розы, а сами листы сияли нетронутой белизной. Он положил альбом на столик, обмакнул перо в чернильницу и вдруг с пугающей ясностью понял, что должен сейчас написать Ангелине признание в любви. Как его написать, какими словами – Лунегов не знал и не мог придумать. Но все равно для начала черкнул на середине листа кривую закорючку и ахнул – перо отвалилось, а чернила расплзлись большой кляксой.

– Не огорчайся. – Легкие и нежные пальцы Ангелины взъерошили ему волосы. – Я и так знаю, что ты меня любишь. Пойдем со мной...

Она взяла его за руку, вывела на крыльцо, и они спустились по высоким ступенькам на узкую дорожку, которая тянулась к беседке, густо оплетенной плющом. И там, в беседке, Ангелина вскинула ему на плечи легкие руки, крепко сомкнула их в кольцо и долго-долго целовала, пока он не проснулся и не услышал насмешливый голос ямщика:

– Фадей Фадеич, помощнику-то вашему, похоже, девки снятся, а не науки, вон как разубыбался, будто со свиданки вернулся нацелованный...

– Тихо, не шуми, пусть спит.

Ямщик послушно замолк, и стало слышно, как железные ободья тележных колес постукивают о камни. Лунегов, не открывая глаз, неловко лежал в повозке на мешках, упиравшись боком в острый угол дорожного ящика; шевелиться ему не хотелось, потому что хотелось вернуться обратно в сон. «Странное дело, – думал он, – даже не верится... Нет, не надо вспоминать! Забыть и зачеркнуть!»

Но память, помимо его воли, вспорхнула легко и невесомо, как птичка, и мгновенно унесла из алтайских предгорий в далекий отсюда город Ново-Николаевск, в просторный деревянный дом на улице Переселенческой. Дом принадлежал делопроизводителю городской управы Денису Афанасьевичу Любимцеву, и отличительной особенностью этой усадьбы был большой сад – вишня, смородина, крыжовник и даже яблони, а вдоль дорожки, ведущей от ворот до крыльца, ровным рядком благоухала белая сирень. Сад свой Денис Афанасьевич развел еще давно, когда его маленькая дочь Ангелина, слушая сказки, которые ей рассказывал на ночь отец, стала спрашивать: «А почему у нас наливные яблочки не растут?» Вот после этих вопросов Денис Афанасьевич и привез первые саженцы.

Теперь, спустя годы, сад разросся, плодоносил, и Ангелина уже не спрашивала, почему не растут у них наливные яблочки. В ослепительно-белом платье, будто сшитом из пышных гроздьев сирени, она встречала гостей, которые пришли поздравить ее с именинами – Ангелине исполнилось девятнадцать лет.

Был среди гостей и Сергей Лунегов, только что окончивший полный курс реального училища и безнадежно влюбленный в юную именинницу. С недавних пор именно по этой причине он стал сурово хмуриться и начал курить дорогие длинные папиросы с золотыми ободками на бумажном мундштуке.

Праздничный вечер шел своим чередом: говорили, поздравляли, вручали подарки и среди прочего преподнесли Ангелине маленький альбом в зеленом бархате. Она прижала его к груди, подпрыгнула от восторга и зазвенела:

– Ой, я придумала! Придумала, придумала! Вы должны написать мне пожелание, желательно в стихах! Сначала я сама напишу, а после вы!

Подбежала к письменному столику, раскрыла альбом и, не присаживаясь, быстро что-то написала на первом листе, отложила ручку и сразу же огласила:

Пишите, милые подруги,
Пишите, милые друзья,
Пишите все, что вы хотите,
Все будет мило для меня!

– Вот! А теперь прошу, чтобы каждый оставил мне пожелание. Господин Лунегов, давайте с вас начнем, вы ближе всех сидите! Проходите, проходите, берите ручку, а мы вам не будем мешать.

Ангелина усадила Лунегова за письменный столик, шутливо взъерошила ему волосы мимолетным движением узкой ладони и отбежала к пианино, собираясь с подругой по выпускному гимназическому классу играть в четыре руки.

«Все будет мило для меня, все будет мило для меня...» – повторял Лунегов и разглядывал четверостишие, написанное аккуратным, почти каллиграфическим почерком, испытывая к каждой букве захлестывающую его нежность. За столом он выпил два бокала вина, голова от этого непривычно кружилась, стихи, конечно, никакие не складывались, и он лишь крутил в пальцах ручку, продолжая любоваться почерком Ангелины.

Подруги начали играть «Вальс цветов», и Лунегов от щемящих звуков испытывал еще большую нежность, ему было грустно и очень жаль самого себя. А вальс кружился, уплывал в раскрытые окна, тревожил душу, и как-то так получилось, само собой, почти неосознанно, что написалось просто и коротко: «Милая Ангелина! Я вас люблю. Сергей Лунегов». Он захлопнул альбом и быстрым шагом, не поднимая головы, вышел на крыльцо. Постоял, вглядываясь в наступающие сумерки, а затем побрел по узкой дорожке, обогнул беседку и прислонился спиной к глухой дощатой стене, пошевелив листья плюща, которые осыпали его холодными каплями.

Днем шел дождь, трава была еще мокрой, и легкие туфли сразу же отсырели, но Лунегов не уходил, продолжая топтаться на одном месте, и никак не мог решить для себя – что ему делать дальше? Вернуться в дом или уйти, не оглядываясь, с этих именин? Выкурил подряд две папиросы, ничего не решил и по-прежнему топтал мокрую траву, не отворачиваясь от капель, которые сыпались сверху.

И вдруг быстрые, легкие шаги послышались по дорожке, кто-то забежал в беседку, старые доски чуть слышно скрипнули, раздался шорох и следом – звуки торопливых поцелуев. Лунегов замер и не шевелился, словно его накрепко приклеили к дощатой стенке. Слышал, как в беседке продолжали целоваться, и казалось, что конца этому никогда не будет. Но нет, остановились, переводя дух, и зазвенел голос Ангелины:

– Хорошо, что я в альбом заглянула, увидела и лист этот вырвала. Представляешь, если бы кто-то прочитал! Скандал!

– Да никакого скандала, не преувеличивай. Все же понимают прекрасно – какой спрос с реалиста? К выпуску они, как правило, глупеют окончательно. – И этот голос, снисходительно-насмешливый, Лунегов тоже узнал. Он принадлежал прапорщику местного гарнизона Звонареву, который явился на именины в парадном мундире и со своей неизменной гитарой, украшенной большим шелковым бантом алого цвета. Высокий, улыбочивый, с густым каштановым чубом, Звонарев прекрасно пел душещипательные романсы и завораживал всех, кто его слушал, – тенор у него был изумительный.

Снова начали целоваться, но в этот раз Ангелина заторопилась:

– Все, все, хватит, пойдем, иначе заметят, что нас долго нет, неловко...

И еще раз быстрые, легкие шаги обозначили дорожку от беседки до крыльца, а скоро из распахнутых окон раздался завораживающий голос:

Когда так радостно в объятиях твоих
Я забывал весь мир с его волнением шумным,
О будущем тогда не думал я. В тот миг
Я полон был тобой да счастьем безумным.

Звенели гитарные струны и рвали на ленточки сердце влюбленного Лунегова. Он наконец-то сдвинулся с места и пошел к воротам – напрямик, по мокрой траве, по цветам, и даже через какие-то грядки.

Целую неделю после памятных именин Ангелины он почти не спал, мучился и, сидя у окна в своей комнате, рисовал в воображении одну картину страшнее другой: вот он пишет Ангелине прощальное письмо, отправляет его по знакомому адресу, на улицу Переселенческую, а сам идет в оружейный магазин братьев Порсевых, покупает револьвер и стреляется

из него, непременно в висок; или, купив револьвер, вызывает на честную дуэль красавчика Звонарева и убивает его без всякой жалости; или, выследив их гуляющими вместе на Николаевском проспекте, покончит с собой, не доходя до них десяти шагов, чтобы они непременно увидели, как он будет истекать кровью...

Матушке о своих переживаниях, а жили они вдвоем, без отца, Лунегов, конечно, ничего не рассказывал, на тревожные расспросы добрейшей и заботливой Серафимы Фадеевны – почему он плохо кушает и почему постоянно хмур и неразговорчив? – отвечал, что ничего с ним странного не происходит, а кушает он плохо потому, что на улице стоит жара. Погода, действительно, установилась, как пекло, даже по ночам не наступала прохлада. Пользуясь этим обстоятельством, Лунегов из дома никуда не выходил, пытался читать, слонялся по своей комнате, изнывал от дурной погоды и от недовольства самим собой, что не может решиться и отправиться в магазин братьев Порсевых за покупкой оружия, а только перечитывает газетное объявление, которое давно уже выучил наизусть: «Имеются в продаже всевозможные двуствольные и одноствольные ружья, винтовки, револьверы и браунинги, а также дымный и бездымный порох». Лунегов выбирал почему-то револьвер, и именно с револьвером рисовались в его воображении все страшные картины.

Неизвестно, чем бы закончились затянувшиеся страдания, если бы не нагрелся внезапно всегда любимый и желанный в маленькой семье Лунеговых гость – родной брат матушки Фадей Фадеевич Кологривцев. Как только остановилась возле дома коляска, на которой он прибыл, как только внесли вещи, так сразу же, мгновенно изменилось течение жизни в небольшом домике – будто пронесся порыв ветра и выдул без остатка тягучую, как жара, скуку и сонную тишину. Показалось даже, что разом во всех четырех комнатах и на кухне зазвучал громкий, веселый голос Фадея Фадеевича, которым он бодро отдавал распоряжения, что и в каком порядке нужно делать в самое ближайшее время. Никто ему не возражал, наоборот, с радостной готовностью бросились эти распоряжения исполнять – так было заведено еще с давних пор. Даже Сергей, выскочив из своей комнаты, где целую неделю тосковал и предавался душевным терзаниям, даже он включился в общую суету и носил, обливаясь потом, воду из колодца в баню, дрова из поленицы, растоплял печку. Затопили, несмотря на жару, и большую печь в доме, и Серафима Фадеевна вместе с кухаркой Анной уже заводили на скорую руку тесто, чтобы испечь для дорогого гостя любимые им шаньги, без которых, как он говорил, и за стол садиться грешно. Смородиновая и облепиховая наливки переливались из больших стеклянных четвертей в хрустальные графинчики, из шкафов доставалась лучшая посуда, а большой стол уже накрыт был белой кружевной скатертью, длинные кисти которой спускались почти до самого пола.

Серафима Фадеевна овдовела очень рано, успев прожить со своим супругом всего два года, больше замуж не выходила, и единственным светом в окошке был для нее сын Сереженька, а надежной опорой – любимый брат Фадей Фадеевич, который все заботы о маленьком семействе сестры взял на себя. Помог построить дом, выручал с деньгами, а во время своих приездов, всегда внезапных и без всякого предупреждения, устраивал настоящие праздники. Служил Фадей Фадеевич в губернском управлении в городе Томске, был человеком, приближенным к губернатору, и очень часто исполнял его личные поручения. За глаза сослуживцы о нем так и говорили – порученец губернатора. Но завидовать ему не завидовали, потому что обладал он характером легким, доброжелательным и умудрялся не заводить в чиновничьей среде врагов и недоброжелателей.

К вечеру, когда баня была готова, Фадей Фадеевич растормошил племянника и заставил его составить компанию – в одиночку он париться не любил.

– Это не беда, что на улице жарко, – убеждал он Сергея, – когда из парной выходишь, жары этой не чувствуешь, даже совсем наоборот, кажется, что прохладно. Вперед, мой юный друг! Мы выйдем чистыми и светлыми!

Сопротивляться ему не было никакой возможности, и Сергею пришлось идти в баню, париться, а после, когда уже сели за стол ужинать, он вдруг поймал себя на странном ощущении – мрачные мысли, которые давили его в последнее время и вгоняли в тоску, бесследно исчезли, словно он выбил их березовым веником. И хотя душа у него саднила по-прежнему, но уже не так безнадежно, как раньше, и он уже больше не собирался идти в оружейный магазин братьев Порсевых, чтобы покупать там револьвер. Не собирался стреляться сам и не задумывал убивать счастливого соперника.

Матушка, похоже, успела шепнуть брату, что с Сереженькой творится что-то неладное, и Фадей Фадеевич, уже после долгого и веселого ужина, когда они вышли перед сном на крыльцо, спросил племянника, положив ему на плечо широкую ладонь, просто и душевно:

– По какой причине хандра одолела, мой юный друг? Рассказывай, легче станет, это я по себе знаю. Вдруг сподоблюсь и дельный совет дам...

Таиться и отнекиваться, как в разговорах с матушкой, ссылаясь на жару, Сергей не стал – выложил свою печаль без утайки.

Выслушал его Фадей Фадеевич, снова положил ладонь на плечо племяннику, вздохнул и сказал совсем неожиданное:

– Принеси-ка, братец, наливочки, лучше облепиховой, и кусочек шанежки положи на тарелочку. Не сочти за труд, из уважения... Только тихо ходи, чтобы матушку не разбудить, она, кажется, спать легла...

Когда появились на крыльце графинчик с наливкой, большая пузатая рюмка и шанежка на тарелочке, Фадей Фадеевич неторопливо и обстоятельно выпил, закусил и дальше заговорил без всяких предисловий, явно не собираясь утешать племянника:

– Два года назад, да, точно, два года, оказался я по служебным делам в Барнауле. Жил в гостинице, а питался в ресторане. И вот, представляешь, картина... Утро, спускаюсь из номера, чтобы позавтракать, и вижу за столом семейную пару, примерно моего возраста, а при них дочка лет десяти – двенадцати. Слышу, что супруги ругаются. Правда, приличие стараются соблюдать, говорят негромко, но очень уж сердито. Точнее сказать, ругается супруга, а муж ее пытается оправдаться, но едва лишь он скажет два-три слова, как она сразу же бьет его салфеткой по щекам и приказывает, чтобы он молчал. Лицо у нее при этом красное, толстое, потное, с большущей бородавкой у носа – смотреть страшно. Но я все-таки пригляделся и узнал... Да, да, не удивляйся. Узнал свою первую и безответную любовь – Сашеньку Гаврилову. Сколько страданий и страстей было, когда она меня отвергла – на целую повесть хватит! Если любопытно будет, спроси у матушки, она расскажет. И вот эта Сашенька превратилась в злую, отвратительную бабу... А самое главное – девочка смотрит на свою мамочку, а в глазах у нее ужас. И такая боль, что не высказать. Я даже завтракать не стал, выскочил из ресторана, будто меня ошпарили, остановился на тротуаре и перекрестился три раза, поблагодарил Господа, что уберет меня во времена неразумной юности. Такие вот дела, братец! А теперь совет – принеси рюмочку, выпей со мной наливочки и ступай спать. А я еще посижу тут, очень уж уютно мне на крылечке.

Как дядя сказал, так Сергей и сделал. Выпил наливочки и отправился спать. А когда проснулся, очень поздно, едва ли не перед обедом, ему показалось, что он выздоровел после долгой болезни. И с этим радостным ощущением полного выздоровления он сразу же, без раздумий, согласился на предложение Фадея Фадеевича, которое заключалось в следующем: в ближайшее время губернскому чиновнику Кологривцеву предстоит дальняя поездка по служебным делам на Алтай и он имеет право, согласно заведенному порядку, нанять себе на казенные средства помощника и ямщика с подводой. Почему бы Сергею не посвятить лето полезному делу? Серафима Фадеевна, услышав об этом, забеспокоилась, принялась подробно расспрашивать: не опасная ли предстоит дорога и как они будут питаться, и где останавливаться на ночлег, но Фадей Фадеевич успокоил ее всего лишь одним разумным доводом:

– Я же рядом с ним буду. Пригляжу, он мне не чужой.

Происходило это недавно, но теперь, в дальней дороге, казалось давним-давним, и, может быть, не вспомнилось, если бы не сон, приснившийся столь странно и внезапно.

Лунегов открыл глаза, отодвинулся от острого угла дорожного ящика, потер затекший бок и огляделся. Впереди, в синей туманной дымке, уже маячили горы.

– Нам теперь рукой подать осталось, Фадей Фадеевич, – говорил ямщик Мироныч, шлепая вожжами по конским бокам, – часок-другой – и в Чарынское прибудем, там и передохнем.

5

Остановиться в Чарынском решили на постоялом дворе, чтобы не тратить время на поиски квартиры, да и комната, которую предложили, оказалась чистой, просторной и даже с горячим самоваром. Занесли и разложили вещи, попили чаю, вздремнули и поднялись после сна бодрые, свежие, словно и не было позади длинной, утомительной дороги.

Мироныч располагаться в комнате вместе со своими пассажирами наотрез отказался:

– Я тут в прошлом годе у них ночевал зимой, чуть не помер. Трубу, раззявы, закрыли, когда еще в печке угли шаяли – все поугорали. Пластом на снегу валялся и блевал, как пьяный, а голова, думал, напололам треснет. Нет уж, Фадей Фадеевич, без меня почивайте. За чаек спасибо, а спать буду на улице, на травке – милое дело. Если понадобится, за коновязью меня ищите, я там под сосенкой устроюсь.

Отговаривать его не стали, и теперь, проснувшись, решали вдвоем, что им нужно сделать в первую очередь, что еще закупить и запасти для дальней дороги, прежде чем отправляться в горы. Точнее сказать, решал Фадей Фадеевич, а Лунегов слушал и старался все запомнить, чтобы не забыть какой-нибудь мелочи. К новым своим обязанностям он отнесся с полной серьезностью и старался быть полезным, расторопно исполняя поручения дяди. Одно лишь оставалось для него непонятным – конечная цель поездки. Неужели, рассуждал он, так уж необходимо забираться в горы, где нет никаких дорог, забираться аж до границы монгольских земель, чтобы написать служебную записку для губернатора? В каждом уезде, в каждой волости есть свои писари, старосты, урядники, наконец, неужели они все вместе не могут сочинить нужного отчета?

– Сочинить-то они сочинят, – усмехался Фадей Фадеевич, – да только картина у них получается очень уж радужной, прямо-таки благостной. Кто же про себя напишет, что он плохо службу свою исправляет? А мы должны предоставить картину честную и объективную. Селение, куда мы едем, особенное, там со дня основания никакой власти не видели. Как так случилось? А вот так! Много земель в нашей империи – есть куда спрятаться. Еще кое-какие нюансы имеются, но я тебе о них после расскажу, наберись терпения. А теперь о делах насущных... Итак, что для нас самое главное на сегодня? На сегодня для нас самое главное – проводник. Вот завтра я им и займусь, а ты возьмешь список, который мы сейчас составим, и вместе с Миронычем отправишься на базар. Все, что необходимо, надо купить, упаковать, увязать и уложить... Придется еще одну подводку нанимать, ну, это посмотрим. Задача ясная?

Чего же тут неясного... Лунегов разыскал Мироныча, беззаботно спавшего на травке в тени сосны, и они вдвоем отправились на базар, который к этому времени, ближе к вечеру, почти опустел. Сначала даже хотели повернуть назад, но Мироныч вспомнил, что неподалеку находится лавка местного торговца Курицына, и они направились к этой лавке. За прилавком стоял сам хозяин – маленького роста, шустрый и очень говорливый. Видимо, это было частью его ремесла – разговаривать со своими покупателями, неважно о чем, но разговаривать, располагая к себе и вызывая доверие. Завязал он разговор с Лунеговым и Миронычем. Выяснил, что им требуется, попутно расспросил, куда они направляются, и даже выпытал, что нужен им проводник в горы. Когда покупки были сделаны, и кучей сложены на прилавке, когда рассчи-

тались, Курицын, довольный, что зашли к нему такие важные покупатели и оставили хорошие деньги, сообщил:

– Вижу я, что люди вы приличные и достойные, поэтому подскажу вам проводника. Где вы остановились? На постоялом дворе? И кого спросить? Господина Кологривцева? Ждите завтра утречком, придет к вам проводник. Ну, а там уж сами смотрите... Если еще надобность в товарах будет – милости прошу ко мне.

Лавочник оказался не голословным, обещание свое выполнил. Утром перед Фадеем Фадеевичем и перед Лунеговым предстал проводник – длинный, как жердь, чернявый мужик с круглыми, водянистыми глазами. Был он таким худым, что длинная рубаха, перехваченная в поясе простой веревочкой, висела на нем, как на колу. Он поздоровался, скромно прислонился к косяку острым плечом и негромко, словно бы извиняясь за свое появление, сказал:

– Курицын меня к вам направил, который в лавке торгует. Говорил, что проводник понадобится. Вот пришел, может, договоримся...

– Да ты проходи к столу, любезный, – пригласил Фадей Фадеевич, – чего у порога встал, как сирота? Проходи, присаживайся. Чаю желаешь?

– А чего же не выпить, если предлагают. – Мужик моргнул, сразу двумя глазами, одновременно, и осторожно сел на свободный стул.

Чай он пил тоже осторожно, крохотными глоточками, и всякий раз, отвечая на очередной вопрос, наклонял голову, отчего водянистые глаза, казалось, еще сильнее выкатываются из орбит. Станным показался мужик. Но, когда Фадей Фадеевич достал карту, нарисованную от руки, и принялся подробно расспрашивать его о предстоящем пути до монгольской границы, мужик неожиданно преобразился: перестал моргать, с удивлением уставился в карту и лицо его, обметанное рыжей бороденкой, стало серьезным и строгим. Отвечал он Фадею Фадеевичу четко, коротко и длинным пальцем по карте водил уверенно.

– Смотрю, ты и карту читать умеешь, – удивился Фадей Фадеевич, – где научился?

– Да разных я людей в горы водил, – отвечал мужик, – иные из них и с картами были, вот я и подглядывал, запоминал. А теперь спросите разрешите – мы что, и дальше за перевал пойдем?

– И за перевал пойдем, – кивнул Фадей Фадеевич.

– Там никаких дорог нет, и сам я ни разу не бывал.

– Но люди же прошли, раз карту начертили. Значит, и мы пройдем. Или боишься?

– Я свое отбоился, давно еще, подглядывал за девками в бане, а отец поймал. Вот страшно было! – Мужик поднял голову от карты и коротко хохотнул, блеснув водянистыми выпученными глазами.

Сразу же стало ясно, что осторожность его и скромность, с которыми он вошел сюда, это своего рода игра такая – прикинуться овечкой, глупой и пугливой, а после взять – да и показать, что не лыком шитый, а голова имеется не только для того, чтобы на ней войлочную шляпу носить. Фадей Фадеевич довольно потер руки, видимо, приняв для себя решение, хлопнул ладонями по коленям и поднялся:

– Будем считать, любезный, что мы договорились. А теперь представься нам – кто таков?

– Зовут меня Фролом, по фамилии Уздечкин, а по батюшке Петрович.

– И давно ты в проводниках, давно этим ремеслом на хлеб зарабатываешь?

– Да уж не первый год.

– И какая тебя нужда подвигла по горам путешествовать?

– Да обыкновенная, – Фрол пожал узкими плечами, – на жизнь и на пропитанье надо зарабатывать, за красивые глаза никто кормить не станет.

– Это верно, – согласился Фадей Фадеевич, – за красивые глаза только барышень кормят, обувают-одевают, да еще и капризы терпят. Ладно, разговоры разговорами, а дело ждать не

будет. Сегодняшний день отводим на сборы, а завтра выезжаем. Тебе сколько времени нужно, Фрол, чтобы собраться?

– Да недолго, только подпоясаться, мигом обернусь.

– Ну, тогда оборачивайся, ждем тебя.

На следующий день, рано утром, две подводы выехали с постоялого двора. На передней подводе правил конем Фрол, а на другой – Мироныч. И пассажиры распределились поровну. На передней – Фадей Фадеевич, а на другой – Лунегов, который сразу же уснул, удобно устроившись между двумя мешками. Была у него надежда, что в дороге под легкий стук тележных колес ему еще раз приснится сон, в котором Ангелина будет долго и сладко его целовать. Но прошлый сон ему не приснился, вообще никакой не приснился. Спал как убитый, без сновидений, а когда пробудился и поднял растрепанную голову, оглядываясь вокруг, Мироныч подивился:

– Силен ты, парень, где прилег, там и засопел. Аж завидки берут.

– Если хочешь, ложись на мое место, а я – на твое.

– Не-е, каждый должен свою работу делать. Да и опасуюсь я, парень, коня тебе доверить.

Тут такие горки сейчас начнутся – мамка, ты по мне не плачь!

Вдали, упиравшись в небо, уже явственно проступали горные вершины, затушеванные сизой дымкой. Дорога, заметно сужаясь, поползла вверх, и по бокам все чаще вставали каменные глыбы, украшенные понизу белесым мохом. Под тележными колесами поскрипывали мелкие камни. Кони перешли на медленный шаг. На такой дороге о быстрой скачке забывается напрочь.

– Подъем этот долго тянется, как сопля, – рассказывал Фрол, оборачиваясь назад, к Фадею Фадеевичу, – а дальше дорога ровная пойдет, до самого перевала. На перевал, само собой, снова забираться придется. Но кони хорошие, сытые, выгатают.

– А после перевала, чтобы до монгольских границ добраться, сколько нам времени потребуется?

– Да кто ж его знает... Дорогу загадывать – последнее дело. Не могу я про это сказать...

– Ладно, скажи тогда другое – до перевала сколько ехать?

– Дня четыре, может, неделю.

– Очень точный ответ, – усмехнулся Фадей Фадеевич, – точнее не бывает!

– Извиняйте, как можем, так и отвечаем, врать не обучены. – Фрол хлопнул вожжами по конским бокам и прикрикнул: – Но-о, родимый, шевели копытами! Знаю, что тяжело, а куда деваться... Деваться нам с тобой некуда!

Лунегов, окончательно проснувшийся к тому времени, услышал его голос и зашевелился, будто Фрол не на коня, а на него прикрикнул. От неудобного лежания на мешках тело затекло, хотелось размяться, и он спрыгнул с телеги, пошел рядом. Поднимал голову, чтобы лучше разглядеть горы, которые становились все угрюмей и неприступней. Каменные глыбы по бокам дороги нависали уже над головой. Казалось, что все вокруг сжимается и громоздится для того, чтобы маленькие, хрупкие люди на двух подводах ощутили и поняли свою крошечную малость, точно такую же, как у мошки, прихлопнул ладонью – и только грязноватый след остался. Стараясь избавиться от этого ощущения, Лунегов ускорил шаги и шел теперь впереди, уже не оглядываясь по сторонам, а оперев взгляд в землю. Снова вспомнился ему сон, приснившийся так внезапно и ярко, но увидел он, на мгновение закрыв глаза, не Ангелину в белом праздничном платье, а прапорщика Звонарева с гитарой. Сразу же распахнул глаза и сердито плюнул себе под ноги. Подумал: «Петух наряженный! Только и достоинств, что гитара с дурацким бантом! Надо было зайти тогда в беседку и сказать ему...» Но что сказать прапорщику Звонареву, убийственно-обидное и унижительное, Лунегов придумать не смог и еще раз плюнул себе под ноги. Остановился, постоял, дожидаясь подводу, и снова улегся на мешках. Лежал,

покачиваясь, старался ни о чем не думать и смотрел в высокое, ослепительно синее небо, по которому скользило, словно оброненное птичье перо, одинокое вытянутое облачко.

6

За речкой Каменкой, которая едва ли не посередине пересекала молодой Ново-Николаевск, возник вскоре после войны с японцами небольшой городок – военный. Все так и называли – военный городок. Возвели его, на удивление, очень быстро. Кажется, еще вчера виднелись кругом разрытые ямы под фундаменты и котлованы, грудились телеги, шумели ломовые извозчики, росли горы бревен, плах, теса, штабеля красного кирпича, а сегодня все куда-то исчезло, будто бесследно растворилось, и на месте строительного беспорядка встали добротные казармы из того самого красного кирпича, красавец-храм, склады, конюшня, дома с просторными квартирами для офицеров и – отдельный – для командира полка. Словно невидимый художник переписал смелыми мазками картину, все переиначил, и воцарилась теперь на ней, согласно воинскому уставу, строгая, по часам расписанная жизнь: подъем, отбой, построения, выходы на стрельбище и общие молитвы.

Но сегодня был воскресный день, свободный от службы, и молодые офицеры, числом трое, нагрузились пакетами, сумками и отправились напрямик от военного городка на берег Каменки. Выбрали удобную ложбинку и прапорщик Звонарев, обращаясь к своим друзьям, прапорщику Грехову и подпоручику Родыгину, произнес, вздернув вверх руку, словно бывалый оратор, следующую речь:

– Господа офицеры! Перед вами поставлена боевая задача – за четверть часа украсить эту прелестную полянку с зеленой травкой пусть скромным, но изысканным угощением. А также исследовать окружающую местность на предмет обнаружения коровьих лепех. Сами понимаете, если прелестные ножки нечаянно вступят в одну из них, случится конфуз. Поэтому нужно действовать быстро и старательно. Время пошло!

– Звонарев, я не совсем понимаю, – отозвался на его речь Родыгин, – а чем собираетесь заняться лично вы?

– Я? Я буду любоваться красотами Каменки и слушать, как шумит мельница. Одним словом, буду наслаждаться. Я это право честно заслужил. Кто очаровал подруг Ангелины, кто уговорил их осчастливить своим появлением наш пикник, кто, в конце концов, будет знакомить вас с очаровательными девушками? И не надо тратить драгоценные минуты на лишние разговоры и препирательства. Действуйте, господа, действуйте!

Звонарев козырнул товарищам и широко улыбнулся, собираясь направиться к мельнице, куда подходила со стороны города накатанная дорога. Сюда, к мельнице, должна была подъехать со своими подругами Ангелина. От предстоящего свидания, от хорошей погоды, от легкого чувства превосходства над своими товарищами настроение у Звонарева было прекрасным и радужным. Он не удержался и в полный голос пропел:

День ли царит, тишина ли ночная,
В снах ли тревожных, в житейской борьбе,
Всюду со мной, мою жизнь наполняя,
Дума все та же, одна, роковая, —
Все о тебе!

Товарищи его, дослушав романс, скупно и чуть слышно похлопали, но Звонарева это нисколько не обидело – стоило ли обращать внимание на такие мелочи, когда звенел не только голос, но и душа. Он слушал шум падающей воды, смотрел на мельницу, на дорогу, но в глазах у него, как наяву, стояла Ангелина, медленно поднимала руку и узкой ладонью поправ-

ляла локонов каштановых волос, который, не желая подчиняться, упрямо соскальзывал на щеку и придавал юной девушке совершенную прелесть и очарование. У Звонарева даже дыхание перехватывало. А еще он слышал ее голос, всегда звенящий:

– Я так рада, так рада, когда мы вдвоем, я даже время не замечаю, час пройдет, а мне кажется, что всего-навсего одна минуточка!

И голос этот, явственно звучащий в памяти, не мог заглушить даже шум мельницы. Звонарев стронулся с места и пошел по обочине дороги, вглядываясь за поворот – не покажется ли там коляска? Ожидание для него становилось нестерпимым, и он, сам того не замечая, ускорял и ускорял шаги, назад не оглядываясь и не видел, что Грехов с Родыгиным, дурачась, достали носовые платки и машут ему вслед.

И в это время, словно отзываясь на желание Звонарева ускорить встречу, подал заливиственный голос медный колокольчик. Скоро из-за поворота вылетела коляска, вытянула за собой серую ленту пыли и стремительно стала приближаться. Уже хорошо различалось, что коляска без пассажиров, а извозчик, приподнявшись со своего сиденья, раскручивает над головой кнут. Тугие хлопки, похожие на ружейные выстрелы, прерывали звон колокольчика.

Серый в яблоках жеребец шел наметом.

Звонарев замер на месте. Непонятно почему, неясно, по какой причине, но он сразу же уверился, что эта бешеная скачка относится именно к нему и ничего хорошего не обещает.

Он не ошибся.

Извозчик, издали увидев его, бросил кнут себе под ноги, двумя руками ухватился за вожжи, натянул их, останавливая жеребца, и хрипло, громко заголосил, будто зарычал:

– Тпр-рр-ру!

Жеребец, сбиваясь с разгона, с трудом остановил свой бег, замер как раз напротив Звонарева и косил на него большим карим глазом с красными прожилками на белках, словно досадовал и хотел укорить: из-за тебя, непутевого, такую знатную скачку оборвали!

Извозчик, чернявый молодой мужик, похожий на цыгана, сдернул с головы мятый картуз, вытер им потный лоб и сишло спросил:

– Извиняюсь, господин военный, ваша фамилия какая будет?

– Зачем тебе моя фамилия?

– Весточку передать должен, но сначала свою фамилию назовите, чтобы весточка в чужие руки не попала.

– Прапорщик Звонарев. А ты кто такой, зачем сюда сломя голову прискакал? Что нужно?

– Мне, господин военный, ничего не нужно, разве что маленькую денежку за езду... Никогда не откажусь! А больше – ни-ни! Все остальное у меня свое есть. Баба, ребятишки, теща, злая, как карга. – Мужик коротко хохотнул, будто хрюкнул, и в разьеме черной, в бараньих завитках бороды блеснули широкие, крупные зубы; сунул руку за пазуху, выдернул в четвертушку сложенный лист бумаги и протянул Звонареву: – Велено передать лично в руки военному по фамилии Звонарев, сказано, что туточки, возле мельницы, вы одну особу ожидаете, а она вот... весточку посылает...

Звонарев выдернул бумажную четвертушку из руки извозчика, развернул – и торопливо написанные буквы запрыгали у него в глазах, словно каждая из них ожила по отдельности: «Милый! Случилось несчастье. Сегодня папочка объявил, что в следующее воскресенье к нам приедут свататься. Сын купца Сбитнева, такой противный и из ноздрей волосы торчат. Сейчас придет портниха снимать мерку для нового платья, и мне велели не отлучаться из дома. Я не знаю, что делать. Придумай. Я не...»

И обрывалась коротенькая записка, явно не дописанная до конца. Чернила в иных местах расплылись, и не требовалось большого ума, чтобы догадаться – не одна слеза капнула на бумажный лист, второпях вырванный из альбома, подаренного совсем недавно на именины. Красные и желтые розы на углах листа украшали горестное послание. Звонарев скомкал

записку в кулаке, и ему показалось, что она прожигает кожу. Вот тебе и свидание долгожданное, вот тебе и пикник на зеленой лужайке, вот тебе и романсы под гитарные переборы! В считанные минуты весь мир перевернулся и встал с ног на голову. Поблек летний день и бил в нос резкий, тяжелый запах конского пота.

Извозчик уезжать не торопился, стоял в передке коляски, перебирал в руках вожжи, и на губах у него, почти скрытых кудрявой бородой, таилась хитроватая усмешка. Нутром, видно, чуял, пройдоха, что одной лишь передачей записки дело не закончится и что надобность в нем и в лихой скачке его жеребца еще нескоро отпадет.

Как в воду глядел.

Одним прыжком заскочил Звонарев в коляску, скомандовал:

– Давай к ложбинке, видишь людей там, к ним и правь.

Когда извозчик тронул жеребца, Звонарев спросил:

– А записку тебе кто передал? Где?

– Барышня передала, господин военный. Я по Переселенческой ехал, она и остановила. Место указала и фамилию назвала, ну и денежкой, признаюсь, не обидела, сразу отдала. А вид у барышни, прямо надо сказать, неважнецкий был, глазки на мокрому месте и голосок дрожит. Сердечные дела, как я понимаю, они всегда переживательные...

– Стой здесь, – не дослушав его, снова скомандовал Звонарев, – понадобится еще, и денежка тебе будет. С горкой за труды получишь. Как звать-то?

– Герасим я, господин военный. Герасим Пирожков, только съесть меня никто не может, потому что с колючками. Если нужда имеется, подмигните, я без слов понимаю. Кого хошь и куда хошь доставлю.

Но Звонарев его уже не слышал. Выскочил из коляски, подбежал к Грехову и Родыгину, крикнул:

– Бросайте все! Свататься поедем! Кто знает, как сватаются?!

Грехов и Родыгин остолбенело молчали, смотрели на него и не трогались с места.

– Что, русского языка не понимаете?! Сказал же – бросайте! Свататься едем!

– Подожди, – попытался остановить его рассудительный Родыгин, – объяснись сначала. Или ты с печки упал?

– С печки! С печки! Жизнь моя, братцы, решается! Вот, читайте... – Он разжал ладонь и протянул скомканный бумажный лист. – Прямо сейчас поедем!

По очереди прочитав записку, переглянувшись между собой, Грехов и Родыгин принялись собирать уже распакованные пакеты и сумки.

– Да вы что, издеваетесь надо мной?! – заорал Звонарев.

– Всякое дело, даже самое срочное, требует мало-мальского осмысления. – Родыгин говорил негромко, размеренно, будто разговаривал сам с собой. – И вот такое осмысление подсказывает мне, что без угощения, без цветов сватовство не будет выглядеть приличным...

– Чего ты там бормочешь?

Словно не расслышав сердитого вопроса Звонарева, продолжая собирать сумки, Родыгин, не меняя тона, продолжал:

– А еще я видел однажды в деревне, что у сватов через плечо повязаны белые полотенца...

– Какие еще, к черту, полотенца?!

– Белые и по краям вышивка... Или их на свадьбу надевают? Не могу определенно сказать. Вы бы, господин прапорщик, не забывали, что являетесь человеком военным, а военному человеку должно быть известно: когда поддаешься эмоциям, непременно терпишь поражение. Холодный, трезвый ум, быстрая оценка ситуации и единственно верное решение – вот путь к победе! А теперь прошу, очень прошу сесть в коляску и предаться душевным терзаниям. А я как самый здравый среди вас буду принимать решения.

– Ну и везет мне сегодня, – расхохотался никогда неунывающий Грехов, – часа не прошло, а полководец уже сменился! Может, к вечеру и до меня черед дойдет, я тоже желаю в полководцы.

– Не дойдет твой черед, – урезонил его Родыгин, – если я не займусь этим делом, вечером вы будете сидеть на гауптвахте. Ничего более умного вы совершить просто-напросто не сможете. Так что слушайте, что я буду приказывать, и не вздумайте пороть отсебятину.

Он и впрямь был разумным человеком, подпоручик Родыгин, и не дозволил возбужденному Звонареву и легкомысленному, как считал, Грехову сорваться в сию же минуту и скакать на улицу Переселенческую. Сначала они заехали в военный городок, оделись в парадную форму, а пока одевались, расторопный Герасим доставил большущую корзину оранжерейных роз, два вышитых полотенца и успел еще свистнуть знакомому извозчику, который подогнал к военному городку, следом за ним, свою рессорную коляску и теперь, дожидаясь седоков, торопливо привязывал к дуге и оглоблям красные, синие и зеленые ленты.

Наконец расселись и покатали на улицу Переселенческую.

Там их явно не ожидали.

Денис Афанасьевич Любимцев и супруга его, Александра Терентьевна, растерянно замерли посреди просторной прихожей и вместо того, чтобы пригласить гостей, пусть и незваных, в залу, принялись извиняться, что одеты они по-домашнему. Затем сообразили, что извинения их совсем не к месту, сбились и дружно, словно получив строгую команду, замолчали, не зная, что им следует делать дальше.

И вот тут, воспользовавшись паузой, вперед, словно на плацу из строя, четко вышагнул Родыгин и заговорил:

– Милостивый государь Денис Афанасьевич, милостивая государыня Александра Терентьевна! Мы осмелились появиться в вашем доме без приглашения по причине очень важной, очень радостной и не терпящей отлагательств. Мы пришли просить вашего родительского благословения. Два любящих сердца желают соединиться на долгую и счастливую семейную жизнь. Наш друг, прапорщик Звонарев, которого вы знаете, просит руки вашей дочери Ангелины...

Говорил Родыгин, будто по бумаге читал – громко, с расстановкой, не сбиваясь, и была в его голосе и в манере говорить внушительная обстоятельность, нарушить которую казалось неприлично. Но Денис Афанасьевич нарушил. Не дослушав Родыгина до конца, перебил:

– Прошу прощения, но дочь наша слишком молода, она только нынче закончила гимназический курс, и ей нужно еще оглядеться для будущей жизни...

Однако сбить с толку Родыгина – затея бесполезная. Он упрямо продолжал гнуть свое:

– Позволю себе возразить, милостивый государь Денис Афанасьевич, молодость – это понятие не вечное, оно изменяется, и, к сожалению, очень быстро. А вот счастье...

Договорить про счастье Родыгин не успел – наотмашь, с громким стуком, распахнулась боковая дверь и – будто вихрь вылетел в коридор. Взвихривался подол легкого летнего платья, взвихривались длинные каштановые волосы, не заплетенные в косу, а лицо Ангелины, бледное от волнения, было преисполнено такой отчаянной решимостью, какая случается у человека, когда он готов на любую крайность – хоть в омут головой!

– Ангелина! Ты что... – попытался остановить ее Денис Афанасьевич и даже шагнул ей навстречу, разводя руки, словно хотел поймать и задержать.

Но куда там!

Пролетела мимо, замерла возле Звонарева, цепко ухватившись тонкими пальчиками за рукав мундира, и срывающийся голос донесся до самых дальних углов большого дома:

– Не люблю я вашего Сбитнева! Не люблю! У него волосы из носа торчат!

– Прекрати! Это неприлично, в конце концов! – Денис Афанасьевич даже побагровел.

Но Ангелина, кажется, его и не слышала. Дернула за рукав Звонарева еще раз и опустилась на колени. Растерянный Звонарев продолжал стоять, а она все дергала и дергала его до тех пор, пока на помощь не пришел Грехов. Тот, не церемонясь, положил руки на плечи товарища и заставил опуститься на колени.

– Говори, – скомандовал Родыгин, – от чистого сердца говори!

– Я прошу руки... – начал было Звонарев, но сбился и беспомощно помотал головой, словно у него внезапно заболели зубы.

– Папочка! Мамочка! – взлетел звенящий голос Ангелины. – Вы же любите меня! Вы же хотите, чтобы я была счастливой! Благословите! Мы так любим друг друга!

Звенящий голос Ангелины будто встряхнул Звонарева:

– Я прошу руки вашей дочери, я буду хорошим мужем и хорошим сыном для вас, а Ангелину... Ангелину я буду на руках носить! Может быть, у меня нет таких капиталов, как у купеческого сына, но я честный человек и пришел к вам с самыми благородными намерениями. Вы никогда не пожалеете о своем согласии.

– Да, да! Никогда не пожалеете! – эхом отозвалась Ангелина.

Денис Афанасьевич побагровел еще сильнее, собираясь что-то сказать, но его опередила Александра Терентьевна. Неожиданно всхлинула, прижала к груди пухлые руки и вздохнула – просто, по-домашнему:

– Что же мы, у порога-то... Проходите в залу, за стол сядем... Сядем и поговорим...

Грехов мгновенно метнулся на улицу и вернулся с цветами, с пакетами, сияя безмятежной улыбкой, будто исполнилось его самое заветное в жизни желание.

Сели за стол.

А часа через два расторопный Герасим и его товарищ доставили господ офицеров на берег Каменки, на то же самое место, где они были утром и где не состоялось намеченное свидание. Извозчики получили деньги, остались премного довольны, а на прощание Герасим, потерев корявыми пальцами курчавую бороду, коротко хохотнул:

– Желаю вам, господа военные, пропить холостяцкую жизнь со звоном! А на свадьбу меня свистните – с ветерком доставлю! Я на базаре стою, там меня всегда найдете!

И долго в безветрии оседали за колясками два пыльных следа.

Звонарев смотрел на них и не слышал, что говорили ему Родыгин и Грехов. Стоял, оглушенный счастьем, и то расстегивал, то снова застегивал верхнюю пуговицу на парадном мундире.

Глава вторая

1

Невидимый и беззвучный, неизвестно, где зародившийся, рухнул вихрь дикой силы, закрутил и вскинул в мгновение ока темный качающийся столб под самое небо. Оно дрогнуло в испуге и разродилось внезапно таким тяжким ударом грома, что земля под ногами просела, и каторжная партия вместе с конвойными разом сбилась с ровного шага, пригнулась, хватаясь за головы, и замерла. Вихрь пронесся прямо по людям, разметывая полы серых халатов, обдал горячей пылью, нагрешейся на полуденной жаре, раскидал тощие узелки на телегах, сшиб фуражку с офицера и понесся вместе с ней дальше, никуда не сворачивая с тракта.

Исчезло солнце. Вздыбилась в половину небесного свода клубящаяся туча, еще раз ударил гром, раскалывая, как колуном, пространство, и дождь-проливень встал стеной.

Загремели вразнобой железные цепи – каждый арестант пытался укрыться как мог: одни на корточки приседали, другие задирали полы халатов, пытаясь ими укрыться, третьи, кто оказался ближе, полезли под телеги. Но старания были тщетными – всех, до последней нитки, в один миг промочила небесная вода. И продолжала хлестать сверху, не зная удержу.

Конвойные, словно онемев, даже не кричали и не подавали зычных команд. Тыкались, бестолковые, как котята, не зная, что делать, крутили головами в разные стороны, но ничего не видели из-за плотной стены дождя.

И никто не услышал, не различил в грохоте и шуме одно короткое слово, которое отчаянно и жарко вырвалось из груди:

– Бежим!

Двое откололись от партии, соскользнули к обочине тракта, кубарем скатились в канаву и, выбравшись из нее, неуклюже побежали, поддерживая цепи руками, к недалекому и густому осиннику. Достигли его, вломились в самую середину, пробились меж тонких, хилых стволов и, не задерживаясь, не давая себе передыха, кинулись в глубину соснового бора, который вольно лежал за осинником на длинных, пологих увалах.

Дождь лупил, не ослабляя напора.

Беглецы одолели один увал, другой, забежали на гребень третьего, и тонкий, прерывистый голос, едва различимый в тугом шуме дождя, взмолился:

– Не могу, умру! Остановись...

– Рано! Беги! Сгноит он нас, на этапе еще сгноит! Беги! – И тот, кто говорил, подтянул к себе цепь, сделав ее совсем короткой, вздернул без жалости и заставил подняться своего напарника, а затем потащил следом за собой, спускаясь с увала.

Снова бежали. Но медленней, тяжелее, переходя на торопливый, неровный шаг.

Ливень с грохотом прохаживался над бором. С такой силой, что рушил вниз гнилые сучки и пригибал макушки сосен. Время от времени вспыхивали молнии, озаряли округу режущим светом и уступали место громовым раскатам.

В изножье увала лежала огромная валежина, закрытая молодыми сосенками. Вывернутые наружу корни с пластами земли на них густо роняли вниз грязные капли. Под корнями виднелась узкая яма, и беглецы, окончательно выдохшись, залезли в нее, скрючились, притиснулись друг к другу и лежали не шевелясь, чтобы не звякнули нечаянно цепи кандалов. Кое-как отдышались, перестали хрипеть, и тонкий, уже не прерывистый голос вышептал:

– Господи милостивый, неужели спасемся?!

Голос был женский.

– Молчи, – прозвучал в ответ мужской голос, – молчи, как умерла. Не в Липенках своих, лясы точить.

– Где они теперь, Липенки. – Короткий вздох, как всхлип. – Там уже яблоки наливаются, крыжовник поспел... А мы...

– А мы в Сибири, на каторгу отправлены. Поймают – накормят яблоками! Не вздыхай, как корова, лежи тихо!

Замерли, прислушиваясь – не донесутся ли сверху тревожные звуки? Но сверху в земляную нору проникали только шум дождя да раскаты грома. Стихли они лишь вечером, когда над увалами сгустились синие сумерки и зачирикала неведомая птичка, зачирикала непрерывно и звонко, словно радовалась сама и торопилась известить всех, кто ее слышал, что буря с грозой закончилась и стоит теперь над сосновым бором тишина и безветрие.

– Потерпи, не ворочайся, обождем чуток. Как стемнеет, тогда и вылезем. – В мужском голосе звучало веселье. – А ловко мы сиганули, скорее вихря! Вот пусть он теперь, жаба пузатая, отчитается перед начальством, оно ему хвоста накрутит!

– Не могу я больше, руки-ноги затекли, как деревянные – не шевелятся...

– А зачем тебе шевелиться, лежишь и лежи. По буграм бегать никто не гонит. Отдыхай.

– Куда мы теперь, с цепями-то?

– Не хнычь! Нынче все дороги наши, выбирай, какую захочешь. Не пропадем! Ты, главное, от меня не отставай, а я выведу, не впервой!

Когда над бором залегла темнота, они выбрались из своего укрытия и медленно, осторожно двинулись в сторону тракта. Неуемная птичка, подбадривая их, продолжала чирикать где-то впереди, будто беспокоилась, чтобы беглецы не сбились с верной дороги. Идти в темноте было тяжело, то и дело спотыкались, иногда падали, глухо звякая цепями. Выбрались к тракту. Он был пустынным в поздний час. Шагалось по нему, после борового неудобья, легче и от этой легкости как будто прибывало сил.

– Если колокольчик звякнет или конь копытами стукнет, сразу за мной на край в траву падай и не шевелись, пока не проедут, – наставлял мужской голос.

– Долго нам идти?

– Идти-то... До-о-лго! Пока ноги носят! – И рассмеялся, добавив: – Теперь нам, как дурным собакам, сто верст – не крюк.

Огромная, на полнеба, туча, которая днем закрывала солнце, теперь, в поздний ночной час, неведомо куда бесследно исчезла, небо прояснилось, и круглая луна величаво всплыла по крутому своду, уронив на землю блеклый, негреющий свет. Ясно обозначился тракт, потянулся вперед, хорошо видный, и лишь там, где к его краям близко подходили деревья, он пересекался длинными, причудливыми тенями.

Вдруг возник неожиданно узкий сверток, накатанный тележными колесами. На него и свернули беглецы, пошли по траве, которая густилась между колеями, и скоро различили впереди мутные очертания деревенских крыш. Добрались до поскотины, огороженной жердями, и перед ними, чуть в стороне от дороги, оказался толстый столб высотой в человеческий рост. На самой верхушке столба что-то неясно темнело.

– Вот и угощенье нам выставили. – Беглец, загремев цепями, поднял руки и снял со столба чугунок, осторожно поставил его на землю, снова поднялся и снял еще половину хлебной краюхи, завернутую в тряпицу. – Садись, красавица, ужинать будем.

Ели руками, доставая из чугунка холодную и комковатую просяную кашу, облизывали пальцы и снова тянулись, чтобы зачерпнуть столь нужного им сейчас угощения; хлеб беглец трогать не стал, засунув половину краюхи за пазуху. Когда кашу съели, выскоблив днище чугунка так, что ни одной крошки не осталось, беглец вернул пустую посудину на прежнее место и принялся обшаривать столб с обратной стороны. Скоро послышалось:

– Вот она, родимая, вот она, пригожая, вылезай, милая, вылезай, пропадем мы без тебя.

Нашел он вбитую в столб железную скобу, и долго мучился, пока ее не расшатал и не вытащил. Отдыхиваясь и крепко сжимая эту скобу обеими руками, пояснил:

– Чалдоны⁴ привычку такую имеют – еду оставлять на столбах для беглых. Как бы договариваются с нами: перекусил, голубчик, и дальше ступай, а в деревню – ни ногой. Сурьезные мужики, если в деревню заявишься, махом голову оторвут. И так спрячут, что с собаками не найдешь. А чугунок или хлеб на столб выставить ребятишек посылают, для них и скобу вколотили, чтобы достать могли. Вот сколько нам счастья от чалдонов привалило, бери в охапку и пользуйся.

– А скоба-то нам для какой надобности?

– Сама увидишь, теперь дальше пошли...

И они пошли, стороной обходя деревню.

Рассвет их застал на берегу глухой лесной речушки, густо заросшей по берегам мелким ельником. На берегу беглец разыскал два увесистых камня, вытащил их на сухое место и расмеялся – безбоязненно, в полный голос:

– Теперь, красавица, будем волю с тобой добывать. Слаще волюшки на свете ничего нету. Больно будет – терпи. Воля, она стоит того, чтобы потерпеть.

В это время уже поднималось солнце, стало совсем светло, и теперь можно было разглядеть и понять, почему беглецы до сих пор двигались, не отставая друг от друга – их сковывала одна цепь. Старательно заклепанная умелым каторжным кузнецом, она прочно соединяла ножные кандалы беглеца и беглянки, не давая им разойтись в стороны дальше чем на три-четыре шага.

Один камень плотно вдавлен в землю, другой – в руке, острое скобы поставлено на заклепку кандалов. Ну, поехали! Удар камня о железо прозвучал глухо и почти неслышно, острое скобы соскользнуло и оставило после себя лишь царапину.

– Ничего, домучим, ты держи крепче, скобу держи, чтоб не соскальзывала! Э, безрукая! Держи!

Дальше удары камня по железу слились в долгую и нудную долбежку – каторжные кандалы никак не желали поддаваться и отпустить на волю убежавших с этапа. Но хотя и соскальзывала скоба и руки раскровянила, хотя и медленно, по чуть-чуть, но дело, ради которого вытащили ее из столба на деревенской околице, все-таки делала. Сначала пошевелила, а затем и выбила одну заклепку на кандалах, затем другую. Беглец приноравливался и бил все точнее, уверенней, а когда скинул с себя ручные кандалы, работа и вовсе пошла веселее – не могло устоять железо против человеческого упорства. И вот, наконец, поранив руки и ноги, весь в поту, беглец вышиб последнюю заклепку на ножных кандалах своей спутницы, откинул скобу в сторону и вскочил. Закружился, раскинув руки, закричал непонятное, а затем остановился внезапно, кинулся к кандалам и, раскручивая их по очереди, зафитилил в речку. Они глухо булькали, падая в воду, и круги от них по воде почему-то не расходились. Управившись с кандалами, беглец сдернул с головы казенную шапчонку и запустил ее следом – в речку. Шапчонка не булькнула и не утонула, шлепнулась на воду и поплыла, лениво поворачиваясь, вниз по течению.

Беглянка плакала, вытирая кровь с пораненной руки жесткой полой арестантского халата, и морщилась – больно ей было. И страшно. Беглец подскочил к ней, встряхнул за плечо, закричал в самое ухо:

– Радуйся, дура! Теперь нам – полная воля! Не пропадем! Теперь нам сам черт не страшен!

⁴ Чалдоны – старожилы в Сибири.

Она подняла на него огромные заплаканные глаза, похожие на цвет спелого, обмытого дождем крыжовника, и другой ладошкой, не измазанной в крови, стала насухо их вытирать, одновременно пытаясь еще и улыбнуться.

2

Эти прекрасные глаза, которыми наградила мать, явились причиной всех несчастий, щедро выпавших на долю Ульяны Сизовой из деревни Липенки, затерявшейся в далекой отсюда Тульской губернии.

Липенки, Липенки...

Они теперь, как небесные звезды – не досягнуть...

Усадьба помещика Сушинского на пригорке стоит. С белыми колоннами, с высокими окнами, украшенная гипсовыми львами и ангелочками. Старые липы, выстроившись вдоль аллеи, посыпанных речным песком, лениво шумят листвой под легкими вздохами летнего ветерка, налетающего из дальних мест. Дальше, там, где кончается главная аллея, начинается дорога, она скатывается под уклон прямо в деревню, которая и называется Липенки и в которой проживают крестьяне отставного майора Богдана Осиповича Сушинского.

Когда-то майор был бравым и молодым, имел пышные усы, которые завивал горячими железными щипцами, но с годами усох, скукожился и стал похожим на перезревший гриб, уже тронутый гнилью. Покойная супруга не одарила его детьми, и Богдан Осипович доживал свой век бобылем, в полном одиночестве, годами не выезжая из своего имения и не принимая у себя соседей. Любимым его занятием было сидение на балконе с подзорными трубами. Труб этих у Богдана Осиповича имелось больше дюжины, все они лежали в специальном ящике, обшитом сверху добротной кожей, а внутри – алым бархатом. Он сам выносил ящик на балкон, усаживался в кресло и часами, меняя подзорные трубы, разглядывал окрестности, находя в этом несказанное удовольствие.

И вот однажды, занимаясь своим любимым делом, Богдан Осипович неожиданно разглядел: под старой липой, присев на яркой траве, плетет веночек из полевых цветов молоденькая девчушка и безоглядно поет при этом, раскачиваясь в такт своей песне. Богдан Осипович от скуки заинтересовался – очень уж умилительная, идилическая, прямо-таки пастушеская картинка получалась. Отложил подзорную трубу в ящик, выбрался из удобного кресла, спустился вниз – и замер, когда вскочила перед ним в испуге девчушка. Глаза... Глаза и сразили наповал отставного майора, как пуля навывлет. Полюбовался, спросил, как зовут, услышал в ответ, что зовут ее Ульяной Сизовой, и, ничего больше не сказав, вернулся обратно на балкон. Взял в руки подзорную трубу, посмотрел, но возле липы уже никого не было. Девчушки и след простыл, унеслась вместе с веночком.

Богдан Осипович опустил подзорную трубу и задумался.

Здоровья он был слабого, мучили его постоянные боли в суставах, темнело в глазах от частого сердцебиения, по ночам он маялся бессонницей и поднимался с постели разбитым и в печальном настроении, потому что все чаще одолевали мысли о скорой смерти. Но в этот день, когда увидел прекрасные глаза, смотревшие на него с искренним страхом, будто бес под ребро вселился и начал шуровать, переиначивая все на свой лад. И болезни забылись, и мысли о скорой смерти, и сам он как будто два десятка лет скинул; воспрянул и даже испытывал некий любовный трепет.

На следующий день Ульяна была доставлена в имение, помыта в бане, переодета в новый сарафан, а вечером ей надлежало явиться в спальню. Да только ровным счетом ничего не получилось из того, что задумывал Богдан Осипович. Едва он дотронулся до Ульяны, как она, дикая, оттолкнула его двумя руками и он, не удержавшись на слабых ногах, отлетел к стене,

ударился головой об угол ночного столика и сразу же затих, не успев пошевелить ни рукой, ни ногой. Даже не застонал.

Ульяна, увидев кровь на полу, заблажила в ужасе, потеряла саму себя, стала отбиваться от дворни, набежавшей в спальню, и ее пришлось связывать.

Дальнейшее произошло просто, обыденно и страшно. Недолгий суд присудил Сибирь, и опомнилась Ульяна, пришла в себя только на долгом этапе, который медленно и устало подползал к Тюмени, где его ждал отдых. Из Тюмени, в дальнейший путь, этап повела другая конвойная команда под началом молодого офицера Грунькина. Был он, несмотря на молодость, очень грузен, когда садился в седло, конь под ним всхрапывал и прогибался. От конвойной службы Грунькин еще не успел притомиться, нес ее ревностно и частенько хватал через край, добиваясь порядка чрезмерной строгостью, а порой и жестокостью. Арестанты его тихо ненавидели, но помалкивали, и только один, бывалый каторжник Агафон Кобылкин, бесстрашно кричал ему во всю ширину глотки:

– Этапные обычаи никому не дозволено рушить! «Милосердную»⁵ всегда пели – приворок для артели! Почему петь не разрешаешь?

– Почему? По кочану! – был ответ Грунькина. – А ты, Кобылкин, помалкивай, или я рассержусь!

– На сердитых воду возят! – не уступал отчаянный Кобылкин.

Не раз они так переругивались, и ясно было всем, арестантам и конвойным, что перепалки эти рано или поздно чем-нибудь да закончатся.

Они и закончились.

Но с таким вывертом, какого никто и не предполагал.

Угроздило Грунькина среди серых халатов и изможденных лиц разглядеть чудные глаза Ульяны Сизовой. Разглядел – и заколыхался тучным телом, заволновался – молодой мужик, нутро загорелось. Считая себя царем и богом над этапными, Грунькин даже и цацкаться не стал, приказал, чтобы Ульяна явилась к нему вечером в его отдельную комнату, которую он занимал как офицер, и вымыла полы. Мойка полов – дело обычное на этапах, многие из арестанток только об этом и мечтали. Бабье дело нехитрое, раскинула ноги – вот тебе и поблажки: кусок получше, на телеге с барахлишком дозvoлят ехать или вовсе осчастливят – кандалы снимут. Ульяна об этом уже знала, уши ведь не заткнешь, слышала, поэтому и побелела, когда Грунькин отдал свой приказ. А после, проследив, как он отъехал, протолкалась, нарушая ряды, к Агафону Кобылкину, поднялась на цыпочки, чтобы дотянуться до волосатого уха, и жарко вышептала:

– Дай мне нож, у тебя есть, я себя зарезать хочу!

Бывалый каторжник, лихой жизнью крученный и верченый, самолично на тот свет людей отправлявший, заморгал, как ребенок, и мотнул головой:

– Нет у меня ножа, а был бы – не дал! Ты чего удумала, девка? Смирись, она не сотрется, глядишь, и облегчение будет. А после плюнуть пошире и растереть.

– Не могу я так, против самой себя – помру сразу. Лучше уж без позора умереть. Дай нож!

– Не дам! Сказал – не дам, значит, не дам!

– Бог тебя не простит, что в последней просьбице отказал.

Выговорила эти слова, обреченно повесила голову и вернулась в свой ряд. Кобылкин глядел ей вслед и от удивления только морщил лоб, наискосок украшенный кривым и широким шрамом. Видно, дрогнуло что-то в корявой душе каторжника, проклюнулся неведомый раньше росток сострадания, и вечером, когда уже подходили к приземистым строениям, где предстояла ночевка, он пробрался к Ульяне, тронул ее за рукав и молча кивнул, давая знак, чтобы она слушала его внимательно, и торопливо шепнул:

⁵ «Милосердная» – особая каторжная песня, очень жалостливая, которую пели, собирая милостыню для арестантов.

– Решайся, девка, если жить хочешь. И ножик не понадобится. Делай, как я говорю, в точности делай...

А дальше торопливо прошептал такое, что Ульяна даже отпрянула от него:

– Не получится у меня!

– Жить захочешь – получится!

И не стал тратить время на ненужные сейчас слова, знал: чем дольше уговариваешь человека, тем сильнее он сомневается. Уверен был – сделает Ульяна так, как он сказал. А не делает... Сделает!

Не ошибся Агафон Кобылкин. Разбойничья и каторжная жизнь, когда приходится босиком по бритве ходить, научила его разбираться в людях, хотя такой случай выпал впервые.

Комната, которую, согласно своему чину, занимал конвойный офицер, находилась в отдельном домике, где располагалась еще и канцелярия. Низенькое крылечко, отдельный вход, узкий, темный коридорчик и, собственно, сами хоромы: стол, несколько стульев, кровать в углу и маленький диванчик. На улицу выходили два окна.

Вошла Ульяна, увидела расплывшегося на диванчике, как жидкое тесто, Грунькина и едва не кинулась обратно. Но пересилила себя. Приняла приглашение и села за стол, на котором лежали белый хлеб, масло и даже пряники.

– Ешь, – милостиво разрешил Грунькин, – а после раздевайся и ко мне иди.

Давилась Ульяна белым хлебом, жевала пряники и вкуса не чувствовала. Съела, сколько смогла, и попросила:

– Там бачок с водой, можно мне пройти, ополоснуться...

– Только быстро, я ждать не люблю!

В узком коридорчике стоял бачок, сверху лежал ковшик. Ульяна погремела крышкой, из ковшика воду полила, а другой рукой открыла настежь входную дверь и увидела на крыльце обрубок большущей толстой жерди. Быстро занесла его в темный коридорчик, уперла, как наставлял Кобылкин, одним концом в порог, а другой чуть подняла, подсунув под него маленькую скамейку. Дверь прикрыла, вернулась в комнату.

– Долго ковыряешься! – выразил неудовольствие Грунькин, – Я же сказал – не люблю ждать! Раздевайся!

Вздрагивающими руками взялась Ульяна за отвороты халата, и в это время, как порох, пыхнул за окнами людской ор, столь громкий, что показалось – стекла в окнах задребезжали. Орал весь этап, орал, как под ножом. Кто-то из конвойных со страху пальнул в воздух, и от выстрела, будто подстегнутый, ор загремел еще сильнее. Грунькин вскочил с диванчика, ринулся в коридорчик – и оттуда донесся дикий рев. С ходу, с разбега налетел в темноте грузный конвойный офицер на толстый конец обрубка от жерди, упертый в порог – точнехонько низом живота. Лежал на полу, извивался, как червяк, и продолжал орать. Ульяна, не помня себя, перелетела через него, толкнулась в двери, выскочила на низенькое крылечко, побежала, и многоголосый ор постепенно стих.

Утром следующего дня, когда партия построилась, чтобы двинуться дальше, оказалось, что Грунькина нигде не видно. Командовал за него старый седой фельдфебель, рычал грозным голосом, а сам незаметно ухмылялся в пышные усы и вид у него был, когда забывался, очень уж довольным. Не жаловали подчиненные своего командира, поэтому и ухмылялся фельдфебель, зная, что начальник его находится в плачевном состоянии. Скоро и вся партия увидела, как вышел Грунькин, широко расшаперивая ноги, будто в интересном месте был у него привязан кол. Морщась при каждом шаге от нестерпимой боли, он дошел до телеги, взгромоздился, лег на спину и махнул рукой, давая команду – трогайся!

Зашаркали десятки ног, загрели цепи – обычный этапный шум. Но в этот раз он нарушался дружным смешком, который прокатывался по серым рядам арестантов. Потешались они над Грунькиным едва ли не в открытую.

Но рано посмеивались арестанты, и рано злорадствовал Кобылкин, довольный тем, что задумка его удалась и что выручил Ульяну. Отлежался Грунькин, оклемался и, пока ехал в телеге, придумал, каким способом наказать строптивых.

И наказал.

Догадывался он, конечно, что вчерашняя история без Кобылкина не обошлась. Поэтому и решил проучить отчаянного каторжника так, чтобы все и разом поняли, кто здесь настоящий хозяин.

На следующее утро, после ночевки, когда партия уже построилась и приготовилась к отправке, выкатили на площадь большую чурку, к которой прибита была наковальня, и появился кузнец с инструментом и с цепью. Из общего строя вывели Кобылкина и Ульяну, поставили перед этой чуркой, и кузнец быстро, сноровисто сковал их ножные кандалы одной цепью. Теперь арестант Кобылкин и арестантка Сизова не могли разойтись друг с другом дальше чем на три-четыре шага.

– Ну, чего не смеетесь? – громко спросил Грунькин. – Не смешно вам, значит. А мне – смешно!

И захохотал в общей тишине, колыхаясь всем телом.

Никто на этот хохот ни словом, ни звуком не отозвался. Молча двинулись арестанты по тракту. Все знали и понимали прекрасно, что Грунькин перелез через борозду, через которую конвойный офицер не имел права перелезть – ни по этапным обычаям, ни по служебным инструкциям. Но никакого начальства здесь, кроме него самого, не имелось, а значит, и жаловаться было некому. Одно оставалось – терпеть и ждать, когда на длинном пути сменится конвойный офицер. Но путь впереди лежал еще долгий, и когда произойдет смена, неведомо.

Но Кобылкин не унывал и подбадривал Ульяну бодрим голосом:

– Ты, девка, не падай духом, а глаза поставь на сухое место. Этому упырю в радость будет, если мы сопли распустим. А ты ему своего настроения не показывай, иначе он совсем нас с грязью смешает. За меня держись, со мной не пропадешь!

Ульяна в ответ кивала головой, соглашаясь, но слезы сами собой катились из ее чудных глаз, особенно, когда приходилось справлять нужду, большую или малую, находясь рядом с Кобылкиным. И хотя он всегда старался в такие моменты отворачиваться и делал вид, что ничего не видит и не слышит, Ульяна все равно мучилась от стыда и бессилия и сдерживала себя из последних сил, чтобы не завывать в голос.

Арестанты Кобылкина уважали, а после памятного случая с Грунькиным зауважали еще больше и делились едой. Подношения бывалый каторжник охотно принимал и самые лучшие куски отдавал Ульяне, приговаривая:

– Тебе крепче питаться надо, силы копить. Нам с тобой много силы потребуется.

– Зачем? – спрашивала Ульяна, и голос у нее вздрагивал.

– А затем, – отвечал Кобылкин, – что мы этому упырю еще покажем дулю. Щелкнем по носу! Погоди, дай срок, выпадет хороший случай – щелкнем!

И выпал счастливый случай, как предсказывал Кобылкин, когда обрушился на арестантскую партию, бредущую по тракту, внезапный вихрь, а следом за ним – проливной дождь...

3

Половина месяца минула с тех пор, как сбежали с этапа Агафон Кобылкин и Ульяна Сизова. За это время еще пышнее расцвело короткое сибирское лето, в лесах народились грибы, ягоды, и каждый куст, укрывая листвой, охотно давал приют и кров. Но всю жизнь под кустом не проживешь, вот кончатся жаркие денечки, занудят осенние дожди, следом за ними запорхают белые мухи, и куда тогда податься беглым людям, где искать жилище, чтобы не сгнить в холодном сугробе, а дотянуть до весны и до первой травки?

Как ни кружилась голова у бывалого каторжника от нечаянно обретенной воли, как ни радовался он своему бесконвойному положению, но о будущем приходилось думать. Время-то быстро летит, не успеешь оглянуться, а руки, хоть и не скованные, уже окоченели. В былые дни Агафон Кобылкин не стал бы ломать голову – где зиму перебиться? Он бы просто поступил и быстро – прибил бы к лихой шайке, благо их в Сибирской земле немало, и занялся бы обычным своим ремеслом – разбойным: гуляешь, пока гуляется, в обнимку с удачей, а если она отвернулась, значит, браслетами⁶ гремишь. Все для него раньше ясным было, а вот теперь – заколодило. Не один он сбежал с этапа в этот раз, Ульяна находилась при нем. И не мог он заявиться с ней в шайку, потому что хорошо знал неписанный и непреложный закон – в шайке все общее. А баба, если появится, в первую очередь. Сам того не заметил Агафон, как за короткие сроки вошла к нему в душу Ульяна, как цепко и накрепко она к себе притянула, не отпуская дальше чем на три шага, будто цепью приковала. И радовался он, как не радовался никогда в путаной и страшной своей жизни, вглядываясь в чудные глаза Ульяны и слушая ее певучий голос. Чем дольше вглядывался и вслушивался, тем яснее ему становилось: не бросит он ее и не отдаст никому. Понадобится – убьет кого угодно, сам на нож пойдет, а дотронуться до Ульяны чужим рукам не позволит.

Мысли эти держал при себе, вслух о них ни единым словом не обмолвился и никак не мог одолеть боязни, которая сдерживала его и не давала подступить к Ульяне. Все казалось ему, что, если возьмет он ее насильно, сломается она, как тонкий стебелек таежного цветка, и засохнет. Погаснут дивные глаза, кроткий голос оборвется и никогда больше не зазвучит. Даже сильные, жилистые руки вздрагивали, когда внезапно возникал страх, что может остаться без Ульяны. Внешне же старался держать себя по-прежнему: насмешничал над ней, а иногда называл коровой и дурой. Она не обижалась, лишь смущенно улыбалась в ответ, опуская глаза, и всякий раз Агафону казалось, что в груди у него рассыпаются обжигающие искры.

Края, в которых они теперь пребывали, были ему неведомы, и он шел, доверяясь лишь своему чутью, минуя стороной большие села и все дальше забираясь в глухие места, где изредка попадались маленькие лесные деревни, возле которых можно было подкормиться и при удобном случае что-нибудь украсть.

Хоть и пробирался Агафон наугад, все равно старался держаться поближе к натоптаным тропам и накатанным дорогам, побаиваясь забрести уж в совсем неведомую глушь. Но чего опасался, то и случилось. Исчезла дорога, будто ее корова языком слизнула. Попытался отыскать, а получилось, что еще больше запутался и потерял всяческое направление. Сосновый бор будто подменили. Светлые, сухие увалы сменились глухим чернолесьем и непролазным валежником. А день, как назло, выдался пасмурным, без солнца. Куда идти – непонятно. Темно, глухо. Только сушняк оглушительно трещал под ногами.

Измаялись и сели передохнуть. Вытянули натруженные ноги и не заметили, как свалились в крепкий, провальный сон.

Первым проснулся Агафон – будто шилом укололи. Вскинулся в тревоге, еще не понимая ее причины, и сразу же услышал, как сухо щелкнул курок ружья. Именно курок, а не тонкая ветка, переломленная при торопливом шаге. Распахнул глаза. А в глаза ему – дырка от дула, круглая и темная, как зрачок. Стоял всего в нескольких шагах от беглецов рыжебородый мужик, одетый, несмотря на летнюю пору, в волчью доху, перехваченную широким ремнем из сыромятной кожи. На ремне висел большой нож в самодельных ножнах. Вскинутое ружье, готовое к выстрелу, мужик держал твердыми руками, и ствол даже не вздрагивал, словно прибили его к невидимой опоре. Узко прищуренные глаза смотрели зло и настороженно.

⁶ Браслеты – кандалы.

– Ты бы ружьецо-то опустил, мил человек, мы путники тихие, мирные, никого не трогаем, – первым заговорил Агафон, стараясь приглушить свой хриплый голос, чтобы звучал он как можно тише и миролюбивей.

– Ага, мирные! Знаю я вашего брата! Человека зарезать – как муху хлопнуть! Подымайтесь! Вперед идите. И не вздумайте баловать – за мной не заржавеет. Погоди... Девка, что ли? Тоже с этапа сбежала?!

От удивления у мужика даже ствол в руках качнулся.

– Я же говорю тебе, милый человек, – снова заторопился, заговорил Агафон, – тихие мы, смиренные и на разбойные дела неспособные, сам понимать должен, на разбой с бабой не ходят.

– Ну, это еще надвое сказали, иная баба злее мужика будет.

– Да ты глянь на ее, глянь, – упорно гнул свою линию Агафон, пытаясь разговорить мужика и притушить его первоначальную злобу, – она, как ангел, чистая, а ты ее – в разбойницы!

– Зубы не заговаривай! Сказал – вперед идите, вот и топайте. А там разберемся, кто из вас ангелом, а кто чертом прикинулся. Ступайте!

Пришлось подчиниться, чтобы не злить мужика. Ульяна вцепилась тонкими пальцами в руку Агафона, прижалась к нему, и он сразу же почувствовал, что она трясется, как в ознобе. Наклонил голову, коротко шепнул:

– Не бойся.

Ульяна сбилась с шага, запнулась и в отчаянии, так же шепотом, отозвалась:

– Лучше здесь помереть, чем на этап вернуться. Ты иди, Агафон, а я упаду и пусть пристрелит.

– Не дури! – Агафон встряхнул ее за плечо и громко, в полный голос пригрозил: – Я тебе так лягу – костей не соберешь! Шевели ногами!

Мужик с ружьем, шедший сзади, молчал. Но нетрудно было догадаться, что весь разговор, даже когда шептались, он прекрасно слышал.

Чернолесье и валежник под ногами внезапно кончились и сменились мягким покровом мха в низине. Дальше пошел подъем на сухой увал, по гребню которого тянулась посреди молодого ельника узкая, едва различимая тропка.

– Направо поворачивай! – последовал грозный окрик.

Повернули, двинулись по тропинке. Скоро тропинка соскользнула с верхушки увала вниз – и перед глазами внезапно, будто из-под земли выскочила, возникла заимка: глухой заплот, такие же глухие ворота, а дальше, за ними, приземистая изба с почерневшей крышей.

– Ворота открывай! – приказал рыжебородый мужик.

Ворота от старости провисли и открылись, царапая землю, со скрипом. Агафон пропустил вперед Ульяну, шагнул следом за ней, и споткнулся, замер на месте: под заплотом, развалившись в полный рост и задрав вверх все четыре лапы, покачивался из стороны в сторону, лежа на спине, матерый медведь. На скрип ворот и на людей, которые вошли в ограду, он даже ухом не пошевелил, продолжал покачиваться и негромко урчал, видимо, выражая полное свое удовольствие. Агафон резко качнулся, заслоняя Ульяну, но мужик, увидев это, предупредил:

– Не шархайся! Он не любит у меня, кто суетится, он степенных уважает, неспешных. Идите в избу.

Поднялись на крыльцо, миновали сени, и вот – изба, в которой не имелось ни перегородок, ни лавок, возле стола, сколоченного из толстых плах, стояли две березовые чурки. На одну из них мужик по-хозяйски сел, положил на колени ружье, прищурился, словно в глаза ему слепило солнце, и принялся рассматривать Агафона и Ульяну. Молчал и толстыми грязными ногтями постукивал по деревянному прикладу. Весело постукивал, дробно, и казалось, что где-то за стенами скачет конь по твердому настилу, озвучивая копытами свой быстрый ход. Наглядевшись и настучавшись, мужик принялся чесать растопыренной пятерней бороду,

а глаза завел в потолок, почудилось, что еще немного – и он заурчит от удовольствия, как медведь, лежащий на спине под заплотом. Внезапно мужик вскочил с чурки, будто ягодыцы огнем опалило, и весело крикнул:

– А чего стоим-то?! Печь не топлена, на столе пусто! Неужели жрать не хотите? Хотите жрать или нет?

– Да как сказать... – замялся Агафон, который не мог найти верного тона для разговора со странным мужиком, – оно бы и не мешало, если имеется, чего на зуб положить...

– Имеется! – Мужик прислонил ружье к стене и показал пальцем: – Там дрова под печкой и растопка с серянками. Зажигай!

И столь неожиданным был этот переход в его настроении, что Агафон и Ульяна даже растерялись. А мужик тем временем уже тащил из сеней здоровущего неоципанного глухаря, мешок с крупой, охапку зеленого, еще не завядшего слизуна⁷ и все это делал сноровисто, быстро и весело, словно исполнял долгожданную любимую работу.

Скоро в печке загорелись сухие сосновые дрова, в закопченный зев дымохода густо потянулся черный смолевый дым, и изба, казавшаяся мрачной и необжитой из-за скудного света пасмурного дня, ожила, повеселела. В чугунке забулькала вода, Агафон ошпарил глухаря кипятком и принялся его ощипывать. Ульяна нашла тряпку, вымыла полы, и мужик, осторожно наступая на чистые половицы, удивленно покачивал головой, словно узрел у себя под ногами диковинную невидаль. Агафон дергал глухаринные перья, отфыркивался от летящего пуха, а сам украдкой наблюдал за мужиком, поглядывал и на ружье, прислоненное к стене. Один из таких взглядов мужик успел перехватить и спокойно, даже чуть насмешливо сообщил:

– Заряда-то в нем нету. Кончились у меня заряды, вот последний оставался, и тот на глухаря потратил. А во двор без меня – ни ногой! Иван Иваныч не даст и на крыльцо выйти – порвет!

Намек был понятный – даже думки не держите, чтобы без разрешения хозяина из избы вырваться. Но зачем же тогда он привел их к себе, зачем собирается кормить и даже вроде бы радуется легкой суете и общему заделью? Не понимал этого Агафон, не мог найти разгадку, а когда чего-то не понимал, его обычная каторжанская настороженность многократно возрастала, и он продолжал неотрывно следить за мужиком, стараясь теперь, чтобы тот не перехватил его взгляда.

Хозяин в очередной раз сбегал в сени и притащил большую головку сахара, положил ее на стол и сообщил:

– Чай будем пить! Вот супчику из глухаря похлебаем, тогда и чаевничать начнем, тогда у нас и разговор сочинится.

Ульяна за хлопотами и от печного жара раздумянулась, еще сильнее похорошела, и Агафон, изредка взглядывая на нее, обмирал от пронзительного нежного чувства, которое пресекало дыхание.

Суп сварился, чугун стоял теперь на середине стола, и все по очереди тянулись к нему деревянными ложками – крепко все-таки проголодались. Выхлебали до самого доньшка, Ульяна в том же чугуне накипятила воду и принялись за чай. Вот тогда, наколов ножом сахара и разделив кусочки на три части, мужик завел, как и обещал, разговор. Станный, надо сказать, разговор:

– Вот дайте ответ мне, чего человек на земле ищет? Все он чего-то бегает, мельтешит, паскудит, врет, изворачивается, как змея под вилами, а зачем он это творит, если знает, что в конце концов крышка ждет от гроба? От крышки не увернешься, не перехитришь ее. А?

– Это как повезет, – усмехнулся Агафон, – другой раз ни гроба, ни крышки нет, так закапывают, а случается и совсем худо – бросят зверью на поживу, а кости после ветер раздует.

⁷ Слизун – дикий чеснок.

– Ну ладно, – согласился мужик, – пускай без крышки. Конец-то все равно один! А?

– Понять я тебя не пойму, милый человек. Какие тебе ответы давать, если спрашиваешь про то, чего я не знаю. – Агафон отхлебнул чаю и замолчал; он, действительно, не знал, что ему следует отвечать, старался лишь соблюдать осторожность, чтобы не рассердить мужика.

– Сермяжные вы люди, – искренне огорчился хозяин, – я-то надеялся, что отведу душу, а вы – как все! Дальше носа рассуждать не можете. Когда с этапа-то сбежали? Давно? И куда направлялись? Только врать не вздумайте, я на сажень под землю вижу.

Помолчал Агафон, раздумывая, и решил, что нет сейчас смысла врать, сочиня какую-нибудь небывальщину, глаз-то у мужика наметанный, сразу догадался, что они с этапа сбежали, хотя и были они сейчас обряжены не в арестантские халаты, а в одежку вполне справную, пусть и потрепанную, какую удалось своровать в деревнях, мимо которых пробирались. Решив так, он не стал таиться, честно рассказал мужику, как оказались они с Ульяной на одной цепи, как помог им внезапный вихрь избавиться от мучителя Грунькина и что идут они сейчас без всякой цели и даже не знают, где остановятся.

Слушал мужик с интересом, а когда выслушал, представился:

– Меня Кондратом зовут, а прозвище у меня – Умник. Я оттуда же, с тракта, сбежал, правда, давно это было, как-нибудь расскажу. Вижу, что врать не стали, это мне глянется, когда по-честному. А что пути своего не знаете – тоже хорошо. Я вам свой путь скажу – не отказывайтесь. Другого вам никто не предложит.

4

Бойко шумела неширокая речушка, омывая своим стремительным течением горные камни. Журчала, не прерываясь ни днем, ни ночью, и звук этот неумолкающий поселял в душе благостное спокойствие, когда отходят в сторону и растворяются, словно туман, тревоги и горести, и кажется, хочется верить, что нет в этом пустынном месте никакой опасности. Значит, можно жить вольно, не оглядываясь в тревоге, жить, как ты желаешь, сам себе господин и хозяин. Сладким было это чувство, веселилась и вскипала от него кровь, как в юности, и силы такие поднимались, что казалось возможным выламывать камни из горы величиной в свой рост и бросать их через речку.

Пылал большущий костер, пламя его отражалось на текущей воде, и глаз невозможно было отвести от отблесков, словно обладали они неведомой тайной и будто бы завораживали. Агафон упирался босыми ногами в песок, уже остывший от дневного жара, смотрел, не отрываясь, на речушку и слушал Кондрата, который говорил не умолкая. Голос его сливался с шумом водяного течения и также поселял в душе тихую благость.

– Вот за это меня, Агафон, и прозвали Умником, что я понять хотел – ради чего человек рождается? Сам не понимал – у других спрашивал. А другие смеялись – умник ты, говорили, но так говорили, будто я дурак круглый, как дырка в носу. А теперь мне и спрашивать не надо, нет такой нужды, я сам знаю. Для того он рождается, человек, чтобы в согласии с самим собой жить, как его душа располагает, так он и делает, чтобы его никто насильно не заставлял – иди туда, тому кланяйся, говори это... Располагает моя душа, чтобы в таком месте обретаться, я и обретаюсь, и никто мне не указ. Спину сгибать не надо, шапку ломать не требуется, врать, опять же, надобности нет. Вот о какой жизни я мечтал! Сам до нее докумекал и путь сюда сам придумал, а ты сомневался... Помнишь, как сомневался?

– Помню, – кивнул Агафон, не отрывая взгляда от текущей воды.

Он, действительно, все хорошо помнил и не забыл, что произошло год назад на заимке странного человека по имени Кондрат, а по прозвищу Умник. Тогда, год назад, рассказал тот Агафону и Ульяне, что собирается покинуть обжитое место, потому как частенько стали навещаться люди – то беглые заглянут, то из соседней деревни, которая появилась недавно, кто-

нибудь, заблудившись, заявится. И если уж знают теперь, что такая заимка имеется, значит, жди в скором времени служивых. А вот их-то, служивых, Кондрат видеть не желал. Рассуждая пространно про жизнь человеческую, он всегда эти рассуждения заканчивал одним и тем же – жить надо там, где душа твоя будет спокойной и безмятежной. А для того, чтобы она в таком положении пребывала, надо отправляться в путь, искать для пристанища иное место. Предлагал Кондрат идти вместе с ним в дальний путь и говорил, что они сразу ему поглянулись, когда услышал он их короткий разговор по дороге к заимке. На вопрос же – куда приведет этот путь? – честно отвечал, что он еще и сам толком не знает, но слышал от верного человека, что имеются такие места в алтайских горах, где можно скрыться и никто тебя не найдет. Агафон, слушая Кондрата, маялся в раздумьях, Ульяна молчала, не встречая в мужичьи разговоры, и длилось так несколько дней. В конце концов Агафон хлопнул ладонями по столу и объявил громогласно, что согласен, а Ульяна, услышав про его согласие, ничего не сказала, только кивнула.

Из соседней деревни привел Кондрат лошадь с телегой, на которую погрузили нехитрый скарб и тронулись в неведомый путь. Следом за телегой, как собачка, косолапил Иван Иваныч, и Кондрат все пытался его уговорить:

– Иди в лес, дурак, зима наступит, где я тебе берлогу рыть буду?!

Но упрямый зверь не отставал и лишь урчал время от времени, выражая неудовольствие.

– Я его совсем малым подобрал, с руки кормил, вот и привязался ко мне, как к мамкиной титьке, – горевал Кондрат, – думал, в лес уйдет, а он, видишь, за нами тянется. Иди, Иван Иваныч, иди, место себе ищи!

Но медведь еще долго тянулся за своим хозяином до тех пор, пока не выпал снег. Проснулись утром – кругом бело. И медведь исчез.

– Вот и оборвалась последняя зацепка, Иван Иваныч – и тот ушел. Теперь у меня все сначала начинается – и путь, и судьбина, будто я заново родился – голенький. – Кондрат смотрел на встающее холодное солнце и улыбался.

Настоящая зима прихватила их в дороге, в лесу, и они пережили морозные, снежные месяцы в хилой избушке, срубленной на скорую руку из тонких бревен. Намаялись, наголодались, но дождались теплых дней и, как только пали сугробы, снова тронулись в путь, одолевая одну за другой несчитанные версты.

И вот пришли.

Уже не втроем, а в десять раз больше. Попадались на пути разные люди, и мужики, и бабы, и, если кто-то из них изъявлял желание идти в неведомое, но благодатное место, никому Кондрат не отказывал, только требовал со всех слово, что обратной дороги они искать не будут. Иных это условие пугало, и они сразу шарахались в сторону, а те, кто согласился, послушно следовали за Кондратом, доверив ему судьбы и жизни. На всем длинном переходе и до сегодняшнего дня Агафон был у него правой рукой. Кондрат доверялся ему без всякой опаски и любил, когда выдавались свободные минуты, разговаривать с ним о жизни. Точнее будет так сказать – он говорил, Агафон слушал. И чувствовалось, что речи его находят у Агафона полное согласие.

Место, которое выбрали для будущей жизни, всех радовало: и горы, и речка, и луг – все было приятным для глаза. А когда обнаружили, что в этих местах даже гнус не водится, ни комара, ни мошки нет, повеселели еще больше, и топоры стучали, не умолкая, с восхода солнца и до тех пор, пока не упадут сумерки.

Сейчас, наработавшись за день, люди спали, а Кондрат с Агафоном все еще сидели у костра, смотрели на речку и оба молчали – наговорились. Пора и спать. Первым поднялся Кондрат, потянулся с хрустом и ушел в темноту. Агафон пошевелил палкой костер, и тот вспыхнул заново, взметнув вверх огромный столб искр. Заслоняясь рукой от этих искр, неслышно при-

близилась Ульяна, присела рядышком на бревно, прислонила голову к плечу Агафона, сказала негромко:

– Час уже поздний, ложился бы... Завтра опять рано вставать.

– А ты чего не спишь?

– Не знаю, проснулась. Глаза закрываю, а сна нет. Привиделось мне – нехорошее... Такое нехорошее, даже затряслась от страха.

– Плюнуть и забыть, мало ли чего привидится!

– Нет, Агафон, такое долго помниться будет. Мальчонка маленький идет на меня, а горло у него перерезано и кровь течет, прямо на рубашку, а рубашка белая, длинная, в пол, я убежать хочу от него, а ноги не слушаются. Подходит он совсем близко и пальцем грозит мне. Молчит и грозит, а лицо строгое-строгое, как на иконе.

– Да не бери ты в голову! Сказал же тебе – плюнь и забудь. Мне другой раз такая чертовщина снится... Тьфу! Пойдем спать!

– А костер? Может, водой залить?

– Сам догорит, погода тихая... Пошли!

Недалеко от костра, рядом с первыми венцами будущей избы, стоял немудреный шалаш, сложенный из веток и сверху накрытый травой, успевшей высохнуть на солнце. В шалаше теперь и жили Ульяна с Агафоном, жили, хоть и невенчаные, как муж и жена. Агафон до конца выстоял, так и не решившись раньше времени дотронуться до непорочной девчонки, которая без оглядки ему доверилась. Ульяна сама выбор сделала, сама пришла к нему, еще там, на заимке Кондрата, пришла, прилегла рядом и едва ощутимо погладила по голове ладонью. Спокойно и ровно звучал ее голос, и от этого голоса Агафону хотелось заплакать, как в далеком и позабытом детстве, потому что во взрослой жизни он никогда не плакал.

– Я ведь поначалу боялась тебя, – говорила Ульяна, продолжая гладить его ладонью по голове, – так боялась, что не смотрела лишний раз. А теперь смотрю – и радуюсь. И дальше хочу радоваться. Только... целоваться я не умею...

Ни похабным словом, ни движением непристойным он не обидел ее. Ни тогда, ни до сегодняшнего дня. Не узнать было матерого разбойника, притихшего под девичьей ладонью.

Сухо, уютно и счастливо было им сейчас в шалаше. И речушка заботливо пела для них свою бесконечную песню, убаюкивая в крепкий сон.

К зиме, к первым морозам и снегопадам, встала деревня, выстроившись в одну улицу. И люди начали на новом месте свою новую жизнь, которая отличалась от прежней, как отличается своим видом старая, изорванная подстилка от нового, в разноцветье сотканного половика. Верховодил всей этой жизнью Кондрат, рядом с ним всегда находился Агафон, и никто этой крепкой связки не оспаривал и недовольства не высказывал.

Обустройствались, обзаводились хозяйством, время от времени посылали доверенных гонцов через перевал, и те возвращались с нужным инструментом, который своими руками сделать было невозможно, с домашней живностью и с семенами. Земля здесь оказалась мягкой, как пух, и плодородной – что воткнул, то и зацвело. Даже огурцы вызревали на навозных грядках. А уж репа, брюква, капуста и прочее, что попроще, перли из земли с такой силой, что треск стоял. Народились детишки, деревня огласилась звонкими голосками, и жизнь окончательно вошла в прочное русло.

Ульяна принесла сынишку, затем девочку, а следом еще одного парня. Тесно стало в избе, и Агафон всерьез задумывался о новом строительстве, собираясь ставить более просторное жилище. Начал заготавливать лес, укладывая в ряды сосновые бревна, чтобы они высохли до чистого звона.

Вот за этим занятием и застал его Кондрат. Спрыгнул с коня, повод не привязав, и напрямиком – к Агафону. Не поздоровался, не кивнул, а сразу – в карьер:

– Бросай работу! Все бросай! Коня седлай, ружье бери, харчишек не забудь! Я здесь подожду, дух переведу.

Не стал Агафон спрашивать о причине такой спешки, понимал – по пустяшному делу сломя голову Кондрат бы не прискакал. Сразу же бросил работу, побежал в свою ограду и скоро появился верхом на коне, с ружьем и с дорожным мешком, в который успел сунуть краюху хлеба, пару луковиц и кусок вяленого мяса.

– От меня не отставай, – махнул ему рукой Кондрат, – после расскажу...

Вскочил в седло, хлестнул плеткой коня, и тот сразу взял рысью, вынося своего седока к речушке. Разметывая брызги, кони одолели речушку, выскочили на утопанную тропу, и гривы их взметнулись от встречного воздуха. Махом проскакали верст шесть, дальше тропа сузилась, и начала вилять зигзагами на подъем, вверх. Нависали над ней каменные козырьки, в иных местах так низко, что приходилось клониться к лошадиной шее. Тут уж вскачь не полетишь, и скоро пришлось спешиться.

– Давай коням передых дадим. – Кондрат вытер ладонью потный лоб, ладонь обтер о ружью бороду и присел на корточки. – Да и самим охолонуть надо, чтобы горячки не напороть... Слушай...

И дальше поведал такое, что Агафон, слушая его, только кричал, как селезень на болоте.

Оказывается, еще вчера Кондрат отправился на охоту. Давно уже заметил он лежку горных козлов, но все времени не хватало, чтобы добраться до них. И вот собрался. Но охота с самого начала не заладилась: когда подходил к лежке, оперся ногой на камень, думал, он цельный, а камень закувыркался вниз, все сшибая, что на пути попадало, и такой получился тарарамный грохот, что козлы вспорхнули, как птички, и пошли перескакивать с места на место, уходя выше по склону. Кондрат, не в силах пересилить охотничьего азарта, потянулся следом за ними. Но козлы будто насмехались: перескочат на новое место, разлягутся, рога выставят и ждут, когда охотник поближе к ним выцарапается. Но едва он начинал подбираться на ружейный выстрел, они легко, по-птичьи, вспархивали и – догоняй заново! Конечно, следовало бы плюнуть, послать подальше хитромудрых рогатых, неудачную охоту, спускаться вниз, на тропу, где оставил коня, и ехать домой. Но Кондрат уперся. Снова и снова тянулся вслед за козлами, а они вводили его все дальше и дальше по горному склону.

Опомнился он, когда огляделся и понял, что оказался в совершенно незнакомом месте. Вокруг вздымались отвесные скалы, и он только запрокидывал голову, растерянно озираясь. Козлы исчезли, будто и впрямь улетели, как птички. Кондрат начал искать спуск, чтобы вернуться к коню, но не тут-то было – куда ни ткнется, везде обрыв, да такой бездонный, что вниз заглянуть жутко. Тогда присел на камень, перевел дух, еще раз огляделся и начал обходить кругами незнакомое место. Должна же какая-то тропка быть, ведь сам он сюда как-то поднялся?! Но зияли перед ним только бездонные обрывы, а сверху громоздились отвесные скалы, окрашенные в розовый цвет заходящего солнца.

До самой темноты шараялся Кондрат из стороны в сторону, но спуска так и не нашел. Уморился до края, выбрал удобное место под большим валуном, привалился спиной к теплому еще камню и провалился, как в яму, в тяжелый сон. Проснулся от холода, уже на исходе ночи; в горах всегда так бывает – пока солнце светит, от жары изнываешь, а луна взошла, зубы начинают дробь бить. Вскочил, задрывал руками и ногами, чтобы согреться, и тут увидел в густой еще темноте, что неподалеку от него поднимается играющий свет – будто из камня всходили искрящиеся столбы. Покачивались из стороны в сторону, сливались друг с другом, и вот уже сплошная полоса разрезала горный склон. Кондрат даже глаза закрыл и головой встряхнул – может, привиделось спросонья? Снова открыл. Нет, не привиделось. Как поднимался свет, так и поднимается, только становится все ярче и ярче. До такого накала, что глаза режет и слезу выжимает.

Заслонился ладонью, отшагнул назад, и показалось ему, что ноги очутились в темноте, а сам он будто бы полетел, невесомый, как пушинка. И по-прежнему властвовал вокруг неистовый свет, на который теперь боязно было даже смотреть.

Сколько времени это было и было ли на самом деле, Кондрат так и не понял. Очнулся на горной тропе, когда уже занимался рассвет – обычный, без искрящихся столбов и полос. И виделось, теперь уже совсем ясно, что тропа ему знакома, по ней он поднимался вчера в погоне за козлами, и где-то там, внизу, оставил коня. Кондрат передернул плечами, осмотрелся, но ничего необычного не обнаружил – все на месте, все, как обычно: тропа вниз уходит, гора вверх вздымается. Может, и впрямь – привиделось? Постоял, покрутил головой и стал спускаться.

Конь встретил его веселым, радостным ржаньем, даже хвост вздернул. Кондрат потрогал жеребца, похлопал по шее, ладонью прикоснулся к мокрым и шершавым конским губам, проверяя самого себя – в яви он пребывает? Убедился – в яви.

А что же тогда с ним ночью происходило? Неужели он на какое-то время ума лишился?

Быть такого не может! Не тот он человек, чтобы здравый рассудок потерять!

И не тот человек, чтобы до подноготной не докопаться.

Поэтому и вернулся вместе с Агафоном, чтобы понять и выяснить – что же все-таки происходило с ним на горном склоне?

Слушал его рассказ Агафон и головой покачивал, удивляясь услышанному. Когда Кондрат замолчал и взглянул на него, безмолвно спрашивая – ну, и чего скажешь? – Агафон отбросил плоский камешек, который вертел в руке, и ответил:

– Уж не знаю, какие там огни горели, но одно знаю верно – без зверя, который на двух ногах, не обошлось. Я, Кондрат, в чудеса и во всякую хренотень не верю. Надо нам заново то место отыскать и поглядеть.

– Вот-вот! И я так мыслю! В четыре-то глаза, может, увидим, чего я не разглядел.

– Верно, один ум хорошо, а два сапога – пара, – усмехнулся Агафон и поторопил: – Давай трогаться, солнце уже за полдень, а нам еще добратся надо.

Тронулись пешим ходом, коней вели в поводу, потому что тропа местами становилась до крайности узкой, близко и опасно подходя к обрыву. Но все равно не терялась, тянулась, как вилюжистая нитка, помеченная круглыми катышками козлиного помета. Скоро пришлось и коней оставить, а самим ползти едва ли не на карачках. И все-таки они ползли. Рвали штаны на коленях, в кровь обдирали руки, но не останавливались.

Тропа круто вильнула напоследок, уперлась в плоский валун и кончилась. Перед валуном – небольшая, ровная прогалина, а над валуном высилась, упираясь в небо, скала. Не было дальше никакого хода – ни напрямик, ни вбок.

– Здесь ты был, помнишь это место?

– Не могу сказать, Агафон, – растерянно развел руками Кондрат, – вроде это, а вроде бы и нет...

– То ли девка, то ль мужик, то ль корова, то ли бык! Слушай, давай перекусим, а после вздремнем по очереди, чтобы ночью не клевать носами. Ночью, я так думаю, чего-нибудь да прояснится. Идти-то нам дальше все равно некуда, только вниз спускаться.

– Это бы хорошо, если прояснится. А если не прояснится?

– На нет, как говорится, и суда нет.

– Все присказками говоришь сегодня, – рассердился Кондрат, – К чему бы это?

– А к тому, что больше говорить нечего. И злиться на ровном месте не резон. Не рви постромки, Кондрат, не торопись, дай время, может, и пойдем, чего тут делается.

Возражать Кондрат не стал. Но и успокоиться никак не мог – тяготила его неизвестность, вспоминалась прошлая ночь, и он готов был сейчас хоть кричать, хоть драться, хоть из ружья стрелять, да только не знал – куда и в кого. Злился еще сильнее, даже завязки у дорожного мешка оборвал, пока развязывал. Но за едой понемногу утихомирился, а после, вытянувшись

в полный рост, уснул, положив голову на приклад ружья. Агафон не спал, прохаживался по прогалине в разные стороны, осматривался, запоминал, но ничего необычного разглядеть не мог. Горы и горы. Больше и сказать нечего.

Ближе к вечеру он тронул за плечо Кондрата. Тот вскочил, как солдатик, сразу схватился за ружье.

– Не шуми, – успокоил его Агафон, – теперь я прилягу, посплю малость, а ты покарауль.

– Заметил чего, пока я спал?

– Слюни по бороде текли – это видел. А больше ничего. Слышать, правда, слышал.

– Чего слышал?

– А как ты шептунов в штаны пускал!

Кондрат заругался – нашел время шутки шутить, не до смешков нынче! Но Агафон, не отвечая ему, только посмеивался и укладывался спать. Владела им сегодня непонятная веселость, будто вернулся в прежние рискованные времена, когда каждый шаг – по краешку обрыва. Оплошал и – всмятку! Только брызги в разные стороны. Не забылся разбойный промысел, лишь притих на время, а выдался случай – и явился во всей красе, обжигая чувством опасности. Агафон радовался этому возвращению, словно хлебнул полным глотком крепкой, до вздрагивания, хлебной водки. Даже сон его не брал, хотя и намаялись до края, ползая сегодня по горной тропе. Слышал, как Кондрат ходил неподалеку, вздыхал, кряхтел, бормотал что-то себе под нос неразборчивое и вдруг смолк внезапно, как обрезался. Агафон в тревоге вскинулся на ноги и замер.

Картина, которую он увидел, могла померещиться только в дурном сне: Кондрат, вытаращив глаза, отступал, пятился к обрыву, в руках у него ходуном ходило ружье, но стрелять было не в кого. Наклонялся вперед, пытаюсь устоять, но не в силах сопротивляться, пятился и пятился, вот еще три-четыре шага – и рухнет с обрыва. Его будто в грудь толкали.

– Стой! Куда? – подскочил к нему Агафон, схватил за рукав, дернул рывком, оттащивая от обрыва, и в этот момент разглядел, что из-под каменного среза искрящимся столбом поднимается свет. Вот он наклонился, лег на прогалину – и каменная твердь под ним начала проседать, опускаться. Оглушительный треск заложил уши. Свет ослеплял, заставлял закрывать глаза. Агафон и Кондрат цеплялись друг за друга, пытаюсь устоять на ногах, но кто-то невидимый жестко и сильно продолжал их толкать, чтобы скинуть с обрыва.

Внезапно режущий свет исчез, оглушительный треск оборвался, и в наступившей тишине они слышали запаленное дыхание друг друга. Теперь уже не пятились к обрыву, да и самого обрыва уже не было – ровный, хотя и крутой спуск, усеянный мелкими камешками, плавно уходил вниз.

И снова пришлось подчиниться неведомой силе, которая властно развернула их и на этот раз мягко, а не тычками, направила к спуску. Переставляли ноги, ворошили камешки, иные из них скатывались вниз и весело пощелкивали. Ружья ни тот, ни другой не выронили, и держали наготове. Спускались долго, казалось, что и конца этому спуску не будет. Но вот он закончился, они оказались на дне узкого ущелья и здесь словно пришли в себя. Озирались, пытаюсь понять, где очутились, и вот что увидели: вправо и влево, загибаясь, как коромысло, уходило ущелье, а прямо перед ними зиял вход в пещеру, накрытый длинным каменным козырьком. Стояла тишина. И не было никакого намека на яркий, режущий свет и на оглушительный треск проседающей каменной тверди – словно привиделось, как во сне. Но сон оборвался, и прежний, привычный мир окружал проснувшихся. Солнце уже закатилось, однако было еще светло и в узком просвете, вверху ущелья, виднелось чистое, налитое голубизной, небо.

– Чего делать будем? – хрипло спросил Кондрат.

– Выбираться надо, как бы насовсем здесь не остаться.

– Может, глянем? – предложил Кондрат, кивая на вход в пещеру. – Если уж попали...

И не договорил, но и без слов ясно было, что не желает он уходить отсюда, не выяснив до конца – куда же они попали?

Агафон молча кивнул, соглашаясь с ним, и первым шагнул к пещере, удобней перехватив ружье и взведя курок.

Дохнуло на них из глубины пещеры тяжелым, затхлым запахом. При скудном свете мутно увиделись сгнившие тачки, разбросанные лопаты и железные ломы, изъеденные ржавчиной, россыпи кирпичей, трухой осыпавшиеся ящики, в которых лежали непонятные темные слитки. Но не это поразило, а совсем иное – в разных местах, где рядом с тачками, где возле ящиков, тускло отсвечивали человеческие кости и черепа. Смерть, похоже, застала людей в один момент, кто, где находился, там и рухнул, и теперь об этих людях напоминали только останки, съеденные временем.

Кондрат, заикаясь, выговорил:

– Как-кого... они тут делали?

– Какого, какого... Вот такого! – Агафон прошел вглубь пещеры, наклоняясь над сгнившими ящиками и тачками, вернулся и твердо сказал: – Серебро тут добывали, руду. Я это дело доподлинно знаю, в Нерчинске два года землю долбил на руднике. Пошли, дышать нечем!

– А как они... С чего померли?

– Откуда я знаю! Меня здесь не было. Они тут лет сто назад шевелились, не меньше, сам видишь – прахом все взялось. Пошли, Кондрат, пошли, не могу я здесь.

– А серебро, серебро есть?

– Похоже, есть, видел какие-то слитки. Видно, руду добывали и здесь же серебро плавил, там, дальше, вроде как печи были. Эту руду с ртутью моют, моют-сушат, а после плавят – морока та еще. Пошли, говорю.

– Погоди, а серебро? Взять можно?

– Куда нам с ним?! В лавку? Ты, Кондрат, о своей голове думай, как нам отсюда выбраться. Давай ночь еще переждем, а утром видно будет. Еще раз спустимся, тогда и поглядим.

Они вышли из пещеры и остановились на дне ущелья, как вкопанные – спуска, по которому они добрались сюда, не было. Нависали отвесные каменные стены, оставляя лишь узкую, быстро темнеющую щель, и не имелось в этих стенах ни единого выступа, а не то что спуска. Как в каменном мешке оказались. Не стовариваясь, двинулись быстрым шагом по дну ущелья, надеясь, что оно хоть куда-то выведет, но дно тянулось и тянулось, становясь все уже и уже.

– Неужели нас бесы водят? – Кондрат остановился, переводя запаленное дыхание, и хриплый голос, впервые за сегодняшний день, беспомощно дрогнул – как ни крепился мужик, а страх одолел его.

– Может, и бесы, – согласился Агафон, – только нам от этого не легче. Давай здесь останемся, ночь переждем, а после решим. Надо еще в другую сторону попробовать, вдруг там выход найдется...

– Я уже и не верю, – признался Кондрат, – не верю, что отсюда выберемся. И какой черт меня потащил!

– Хватилась девка, когда ночь прошла. Теперь уж поздно, не переменишь. Терпеть надо, Кондрат, а в отчаянность впадем, тогда уж наверняка не выберемся. Страх, он не советчик.

На эти слова Кондрат не отозвался, сполз, как густой плевок, по каменной стене и сник, словно в одно мгновение растоптали мужика, и ни на что дельное он теперь не годился. Агафон это понял сразу, знал еще по прошлой каторжной жизни, что случается такое – крепкий, казалось бы, человек, и нрав у него, как кремль, но доходит он до невидимой черты – и не может ее одолеть. Рассыпается, как от удара молотом, и заново крошки от бывшего кремня уже не соберешь и не склеишь. Всего один раз ломаются такие люди, но зато насовсем, на всю жизнь, какая им останется.

Жаль ему было Кондрата, до слезы жаль, но утешить его сейчас он ничем не мог и любые слова были бы бесполезны. А Кондрат, сидя на корточках и опустив руки, мотал головой, словно маялся нестерпимой болью, ругал самого себя, проклятое это место и начинал бормотать, сплевывая после каждого слова себе под ноги, уже совсем несвязное. Сам собою не владел человек.

Сумерки между тем сгустились, и скоро темнота сомкнулась над каменной щелью, а в небе, в недостижимой вышине, обозначились крупные мохнатые звезды. Агафон, стараясь не слушать бормотания Кондратия, смотрел, запрокинув голову, на эти звезды и пытался вспомнить весь сегодняшний день, с самого утра. А еще старался восстановить в памяти дорогу, которую они одолели. Он ведь тоже в эту сторону не раз ходил на охоту и видел тропки, на которых обитали горные козлы, но почему-то никогда не видел ни валуна, ни прогалины. Чертовщина какая-то получалась. Снова и снова вспоминал горную дорогу и убеждался – шли они по местам совершенно незнакомым. Неужели и впрямь их бесы водили?

«Что же ты, человек, злых духов вспоминаешь, да еще ночью, когда помыслы должны быть светлыми? – нараспев зазвучал неожиданный странный голос; звучал он не в воздухе и слышал его Агафон не ушами, а будто он был ему раньше знаком и являлся из памяти – нежный, тонкий, словно сотканный из серебряных ниток. – Ночью, если не спится, нужно добрые дела вспоминать, какие успел за день сделать, а ты злых духов тревожишь. Не трогай их, они сейчас отдыхают и рассердятся, если ненароком разбудишь. А про друга своего верно подумал – не владеет он больше собой, хотя и Умником прозывался. Зря прозывался. Умный, когда о завтрашнем дне думает, а на желания свои, нынешние, может узду накинуть. А он не захотел. И перед соблазном не устоял. Опять же – загорелась душа жадностью, вот и кинулся исполнять. Он ведь не все рассказал, твой друг, самое главное утаил. Я расскажу. Слушай... Сказано ему было – здесь мои владения и мое богатство. А еще было сказано, чтобы он сюда никогда не возвращался и людям вашим запретил бы здесь появляться. И богатства ему были показаны, посмотри, убедись и уясни, что чужие они для вас. Ничего не понял. Посчитал, что близится ему мой голос. Серебро, какое успел, в карманы напихал и дома спрятал. Позвал тебя в помощь, надеялся еще поживиться. Знаешь, почему Умником его называли? Потому что вор он, и воровал всегда с выдумкой, умничал, когда воровал. А после решил другую жизнь начать, да не получилось у него – старые грехи пересилили. Как появился соблазн, так и поддался сразу. И ты свои грехи тоже сюда принес, не оставил их, не избавился, и все остальные принесли. Присыпали их, как золой, а внизу угли тлеют, дунул ветер, они и загорелись. Поэтому нет вам, грешным, доступа к моим богатствам. Помни, что слышал. Теперь главным будешь в деревне, и тебе говорю: никто в мои владения вступить и хозяйничать в них не может. Иначе... Ты видел, что я могу сделать, там, в пещере, видел? Запомнил?»

«Запомнил, – не размыкая губ, отозвался Агафон. – Только скажи мне – кто ты? Как я тебя называть должен? Голос-то вроде бабий...» – «Голос мой. Я чужими голосами разговаривать не умею. А кто я – может, и узнаешь со временем, если старые грехи отряхнешь. Сегодня отпускаю вас, но еще раз говорю – помни, что слышал».

И не успел Агафон уяснить для себя эти слова, не успел ни о чем подумать, как закрутила его неведомая сила и выкинула в пустоту.словно во сне, летел он, просекая темноту, и очнулся, открыл глаза, когда ощутил под собой твердый, прохладный камень. Распахнул глаза. Склонялся над ним его конь, выгибая шею, и тянулся, шевеля губами, словно хотел поцеловать.

Агафон вскочил на ноги.

Занималось утро. На редкой траве и на камнях лежала обильная роса, и даже узда на коне поблескивала от мелких капелек. Солнце из-за горы еще не поднялось, но розовый свет уже струился по склонам и становился ярче.

Конь Кондрата стоял рядом, пощипывал жесткую травку, косил большим карим глазом на хозяина, а хозяин лежал ничком, подтянув к животу колени, и бормотал, не прерываясь,

но что бормотал – разобрать было невозможно. Так бывает, когда маленький еще ребенок балякает на своем ребеночном языке, и никто из старших даже не пытается понять его – пускай балякает, подрастет – заговорит, как взрослый. Но в случае с Кондратом, уверен был Агафон, заговорить по-иному уже не получится. Видел он на своем веку тех, кто сходил с ума, и ни разу не видел тех, к кому бы возвращался рассудок. Постоял над скрючившимся Кондратом, окликнул несколько раз, но внятного ответа не получил. Тогда поднял его, усадил в седло и для надежности привязал ремнями от стремян, чтобы не свалился.

И двинулся в обратный путь, ведя в поводу сразу двух коней.

До деревни добрались лишь поздно вечером. Народ к тому времени уже встревожился, мужики сидели на бревнах и решали – отправляться завтра с утра на розыски или еще денек подождать? Сгрудились вокруг в изумлении, когда Агафон, распутав ремни, снял Кондрата с седла и уложил на землю. Спрашивали наперебой:

– Он чего буровит-то?

– Рехнулся?

– Агафон, где были?

– А кто у нас теперь править будет?

И много еще о чем спрашивали мужики, глядя на бормочущего Кондрата. Отвечать им Агафон не торопился. Понимал, что расскажи он сейчас мужикам истинную правду, никто ему не поверит. Решат, что сочиняет небывицы, или, того хуже, заподозрят, что он и сам умом тронулся. Поэтому, сразу не придумав, что говорить, махнул рукой и сказал:

– Завтра, мужики, с утра у меня собирайтесь, доложу вам по порядку, что за напасть случилась. А заодно и думать будем – как дальше жить? Ноги у меня в коленках подкашиваются, и спать хочу – глаза слипаются. Боюсь, до избы не доберусь. Вы Кондрата покараульте ночью... А я пойду.

Не задерживаясь, сразу же и направился к своей избе, шархался из стороны в сторону, словно возвращался, в излишек выпив, после гулянки. Не притворялся, его и в самом деле покачивало, будто земля под ногами ходила волнами.

На пороге, распахнув двери, стояла Ульяна, держала на руках младшенького, а старшие, по бокам, держались за подол юбки. Агафон наклонился, обнял разом всех четверых, успокоил:

– Живой я, живой и здоровый. Пойдем в избу, Ульяна, я спать буду, ничего не хочу – спать.

– Может, на стол собрать?

– Не надо...

И рухнул, не успев стащить с себя одежду, поперек деревянной кровати, не дожидаясь, когда Ульяна разберет постель. Не чуял даже, как она его раздевала, укладывала и накрывала пестрым цветным одеялом, сшитом из лоскутков. Проснулся поздно, от неясного говора. Прислушался, не открывая глаз, и понял, что за окном гомонят собравшиеся мужики. Надо выходить к ним и рассказывать... А что рассказывать? И вдруг, будто кто нашептал ему: вот ведь как случилось!

Он оделся, вышел к мужикам совершенно спокойный, и твердо, убедительно заговорил:

– На козлов он охотиться поехал, а они в горы от него ушли, за тем местом, где козырьки каменные начинаются. День там проваландался, переночевал и вроде бы выследил, по какой они тропе ушли. Утром за мной примчался, поехали, говорит, ты с другой стороны на тропу зайдешь, тогда мы их прижучим и мяса настреляем немерено. Ну, приехали, тропу отыскали, поднялись, а там такая страсть – сверху осыпи, а внизу обрыв – дна не видать. Кондрат остался, а я с другой стороны зашел. Слышу, он выстрелил. И такое началось – конец света! Или от выстрела, или заряд в камень попал, а только осыпь зашевелилась и вниз поехала. Камни летят, как брызги, грохот кругом, уши закладывает. Я за валун заскочил, сижу, ни живой ни мертвый, а осыпь летит и летит. Едва дождался, когда стихнет. Вылез из-за валуна на карачках,

пополз Кондрата искать. Нашел, он тоже успел за валун спрятаться, только ему страшной пришлось – обрыв-то рядом. Пять шагов – и полетел, как пушинка. Вот и натерпелся страхов. Кое-как вытащил, вниз спустились к коням, тут он и забормотал. Молчал до этого, не говорил, а как вниз спустились, будто прорвало, бормочет и не останавливается. Теперь за каменные козырьки даже носа не суйте. Со всех сторон осыпи сдвинулись, от одного голоса дурной камень может покатиться, а как покатится – костей не соберешь. Или умом тронешься, как Кондрат. Присмотрели за ним, как он там?

– А никак, закатил глаза и молчит. Руки сложил, будто помирать собрался, и молчит. Накормить хотели – отказывается, не желает пищу брать.

– Пойдем, глянем...

Гурьбой повалили к избе Кондрата. Хозяин лежал на широкой лавке, сложив на груди руки, смотрел широко раскрытыми, круглыми глазами в потолок и даже не пошевелился, когда пожаловали к нему гости. А они переглядывались между собой, кивали, указывая друг другу на перемену, которая произошла с человеком: рыжая, до огненности, борода Кондрата побелела неровными клочками и торчала вверх, как растрепанный веник.

– Давайте решать, как приглядывать за ним будем, не дело – одного оставлять, – сказал мужикам Агафон, когда вышли все из избы.

Бабой Кондрат не обзавелся, говорил, что для вольной жизни она помехой является, жил один, а еще говорил, посмеиваясь, что невеста для него вот-вот родится. Теперь не до смешков было: человека, который не в разуме, без догляда оставлять нельзя, мало ли что в голову ему стукнет, да и кормить-поить надо, не будет же он век от пищи отказываться. Решали мужики недолго и присудили так: присматривать за Кондратом станут по очереди, и кормить-обихаживать его бабы станут тоже по очереди, чтобы никому накладно не было, чтобы хлопоты всем поровну. На этой же общей сходке мужики выбрали главным человеком в деревне Агафона. Много слов не говорили, просто сказал один – бери теперь наши вожжи в свои руки – а остальные согласно кивнули. Отказываться Агафон не стал, взял вожжи в свои руки – и жизнь в деревне пошла дальше по натоптанной колее.

Споткнулась она, казалось бы, на ровном месте через несколько лет.

Август стоял – тихий, благодатный. Ночи с верхушек гор опускались уже прохладные и беспросветно-темные, но зато в небе вызревали огромные звезды, И было их такое множество, что голова кружилась.

В одну из таких ночей, внезапно проснувшись, Агафон обнаружил, что Ульяны с ним нет. Пошарил рукой по пустой подушке и удивился – где она? Подождал. Может быть, на улицу по нужде вышла и сейчас вернется? Но время шло, а Ульяна не возвращалась. Тогда он, наскоро натянув штаны, вышел на крыльцо и сразу же различил в темени мутное, белесое пятно в углу ограды. Спустился с крыльца, подошел ближе. Ульяна стояла босой, в одной исподней рубахе, стояло, видимо, уже давно, потому что, когда он тронул ее за плечо, оно оказалось холодным.

– Ты чего здесь?

Она не обернулась на его голос, не пошевелилась и не ответила. Как стояла, так и продолжала стоять, словно пыталась что-то разглядеть в непроницаемой темноте. Агафон тряхнул ее за плечо сильнее:

– Слышишь меня?

– Слышу, – наконец-то отозвалась Ульяна. – Слышу тебя, Агафон. Скажи мне – ты, когда разбойничал раньше, детей убивал?

Агафон даже дернулся от неожиданности и руку свою убрал с плеча Ульяны. Уж чего-чего, а вот таких слов он не ожидал. Да и где она, его прежняя разбойничья жизнь, о которой он позабыл и которая, как казалось ему, безвозвратно поросла быльем. Канула она бесследно и не стоит вспоминать о ней, да еще посреди темной ночи.

– Молчишь? Не можешь ответить? Значит, убивал. – Голос Ульяны, на удивление, звучал спокойно и даже устало, словно говорила она о каких-то обыденных домашних делах. – Сон мне снова приснился – мальчонка в рубашонке белой, в крови весь, и снова пальцем грозил, помнишь, я рассказывала, давно еще... Вот он заново явился, зарезанный... Тогда ничего не говорил, а в этот раз сказал – отошьется, сказал, моя кровь вашими слезами...

– Да мало ли чего приснится!

– Говорил уже, Агафон, в прошлый раз говорил. А мальчонка снова явился. Неспроста он приснился, я сердцем чую.

Уговаривал Агафон жену, сердился даже, пытаюсь внушить ей, что не стоит посреди ночи вскакивать как оглашенной и по ограде шастать из-за дурацкого сна, который утром уже позабудется.

– Не забудется, – твердо отвечала Ульяна, – я и первый до капли помню... В глазах стоит...

– Ладно, пошли в избу, хватит здесь топтаться, замерзла уже...

Взял ее за руку, повел за собой. В избе, как маленькую, уложил в постель и сам осторожно прилег рядом. Вслушивался в дыхание Ульяны, догадывался, что она не спит, хотел заговорить, успокоить ее, но подходящих и нужных слов подобрать не мог – не шли они ему на ум. Вот уже и окна в избе засинели перед рассветом, а супруги лежали, не сомкнув глаз, и молчали, словно отделились друг от друга невидимой стенкой.

Утром Ульяна привычно поднялась, пошла доить корову, хлопотать по хозяйству, готовить завтрак и, когда сели за стол, она ни словом не вспоминала о ночном разговоре, а говорила о том, что надо успеть сегодня вытащить пустые бочки из погреба, ошпарить их кипятком и высушить, приготовить заранее – скоро придется засолками заниматься на зиму. Агафон согласно кивал, а после завтрака сразу полез в погреб доставать бочки.

День прошел, как обычно, в привычных трудах.

Показалось даже, что ночной разговор и сон, приснившийся Ульяне во второй раз, сами собой позабудутся и возврата не случится.

Но вышло наоборот: и сны пришлось вспомнить, и недоброе предчувствие Ульяны, которое сбылось страшно и скоро.

Зима в тот год наступила ранняя и обильно снежная. Будто невидимая прореха разъехалась в небесах и сыпалась из нее белая мешанина иной раз целыми сутками. Утром вроде бы чуть развидняется, и даже солнышко мигнет на короткое время, но вот уже закружились лохматые хлопья, гуще, гуще – и нет ни солнца, ни света. Шаткой стеной, покачиваясь, встает снегопад. День проходит, ночь наступает, а он – стоит. Изредка снегопады сменялись морозами, а затем – снова и снова: валит и валит, без конца и без края.

За деревней, где начинались подъемы предгорья, намело огромные сугробы с загнутыми гребнями. В этих сугробах играли ребятишки в один из оттепельных дней. Норы рыли палками, прятались в них, галдели – одним словом, радовались. И никто из них не поднял вверх головы, не увидел опасности и не предупредил, что надо бежать отсюда не оглядываясь. Огромный снежный гребень отломился беззвучно и ахнулся вниз с глухим звуком – будто пуховой подушкой об землю ударили. Кого несильно придавило, тот успел выбраться, кто подальше стоял, тот отскочить успел, а вот парнишки и девчонка Кобылкиных в нору залезли как раз в это время.

И остались в ней.

Выла по-волчьи Ульяна, когда голыми руками разгребала снег, ломая ногти о ледяные прожилки. С хрипом, задыхаясь, откидывали мужики снег лопатами, не давая себе передышки. Скорей, скорей, лишь бы успеть!

Не успели.

Пока добрались до ребятишек, пока вытащили их из-под снежной тяжести, они уже не дышали. А мертвые глаза у всех трех, припорошенные снегом, были широко открыты, словно удивились малые, не понимая, что с ними произошло, да так и отошли в иной мир с этим искренним удивлением.

После похорон Ульяна наглухо замолчала, будто онемела. Агафон, пугаясь этого молчания, подступал к ней с расспросами, слова какие-то говорил – она ему не отвечала. Смотрела немигающим взглядом и руки растопыривала, шарила ими в пространстве, пытаясь что-то найти, но так и не находила. Хозяйство забросила, не было ей теперь дела ни до живности, ни до печки, ни до еды – клюнет малую крошку, как синичка, и смотрит, смотрит в стену остановившимся взглядом.

Агафон сам хлопотал по дому и во дворе, крутился, как юла, но все валилось из рук, падало, разбивалось и вытекало – не наладить и не собрать.

И вдруг посреди ночи Ульяна заговорила:

– Огонь запали, хочу, чтобы светло было...

Зажег Агафон сразу две сальных свечи, обрадовался, что Ульяна заговорила, заторопился, спрашивая – может, еще какая надобность есть?

– Нитки мне принеси с иголкой, – попросила Ульяна, – и холстину белую достань из ящика.

Удивился Агафон, но просьбу послушно исполнил. И дальше смотрел во все глаза, как руками рвала Ульяна холстину, прикладывала лоскут к лоскуту, примеривая, а затем начала их сшивать. Понятно стало, что пытается она сшить рубашку, которая получалась у нее кривая, косяя и неровная. Но явно проглядывали уже и рукава, и ворот. Хотел спросить – зачем она это делает? Но Ульяна опередила его и сама сказала:

– У мальчонки, который снился, у него рубашка в крови. А я ему эту отдам и переодену в чистую, может, он и простит твой грех. Мальчонку-то, Агафон, ты зарезал. Вот к нам этот грех и вернулся, теперь наши дети сгинули. Ты ведь так и не признался мне, что убил, и не покаялся, видно, ни разу, думал, что на новом месте все позабудется, а не забылось, по следу твой грех шел, не отставал, шел и догнал.

Похолодела спина у Агафона, а после горячими каплями пота обнесло ее – вспомнились слова, которые он услышал в ущелье. Иными те слова были, но суть – одна. Не вспоминал он о давнем своем грехе и не каялся, а сейчас, в эту минуту, как озарило, будто невиданно ярким пламенем вспыхнули тусклые сальные свечи и осветили – все стало видимым, как наяву... Богатый купеческий дом брали они тогда с подельниками, а навел их на этот дом купеческий же конюх. Все рассказал за обещанную долю: когда хозяева спать ложатся и как можно хитрые запоры без шума открыть, и где хозяйское добро хранится. Купец со своей супругой даже проснуться не успели – их сонными зарезали. И сразу принялись выворачивать наизнанку сундуки – добром огрузились без всякой меры. Когда это добро уже вытаскивали, появился в дверях своей спальни маленький мальчонка в длинной белой рубашке. Видимо, проснулся от шума и кулачками протирает глаза, которые, когда он отнял кулачки, оказались у него пронзительно голубыми. Увидел конюха, узнал его и даже успел сказать:

– Дядь Яша...

– Режь его! – заорал конюх, тащивший на горбу большой узел. – Он про меня скажет, тогда и до вас доберутся!

Агафон, подчиняясь этому крику, а больше того – разбойничьей привычке не оставлять следов, выдернул из-за голенища сапога узкий, остро отточенный нож на ловкой костяной ручке. Короткий взмах и – скорей, скорей в распахнутые двери, чтобы не задержаться и вовремя унести ноги. Назад он даже не оглянулся.

– Когда помру, ты рубашку эту в гроб мне поклади, чтобы под рукой была, – глухо, едва слышно, словно издали, доходил до него голос Ульяны.

Он не отозвался на ее голос, на ощупь, как слепой, выбрался из избы на оснеженное крыльцо, поднял голову в небо и увидел, что оно в эту ночь стоит над землей высоким и чистым.

– Господи, прости! – впервые в жизни прошептал Агафон.

Ответа ему не было.

Скончалась Ульяна на следующую ночь, под утро, прижимая к груди так и не дошитую рубашку из белой холстины. Агафон, исполняя ее просьбу, положил рубашку в изголовье гроба.

5

– Бу-бу-бу-бу, – бормотал без передыха Кондрат, и жиденькие слюни стекали по бороде, которая за последние годы стала совсем сивой. Потеряв рассудок, он быстро постарел, обрюзг, редко, только по нужде, выбирался из избы, а в остальное время либо спал, либо жевал. Прожорливость в нем открылась невероятная. Сколько ни варили для него бабы по очереди, сколько бы ни принесли – все сметал подчистую, по-собачьи вылизывая чашки языком. Наевшись, сразу же засыпал, а проснувшись, начинал бубнить, сердито требуя, чтобы его покормили.

Ухаживать за полоумным – дело хлопотное, брезгливое, а когда ухаживать приходится годы, оно и вовсе становится муторным – до отрыжки. Вся деревня тяготилась своим бывшим старостой, многие уже вслух начинали высказывать недовольствие, но Агафон всегда осекал грозным окриком:

– А куда его девать? Веревкой задушить? Или голодом уморить? Кто возьмется?

Замолкали, но недовольство оставалось.

После похорон детей и Ульяны, оказавшись один как перст, Агафон растерялся, не знал, куда себя приткнуть, и совершенно забросил хозяйство: живность раздал по соседям, строительство нового дома прекратил и даже печь топил от случая к случаю, когда в избе становилось так же холодно, как на улице. Занятый своими переживаниями, он даже не заметил, что недовольство мужиков и баб, связанное с Кондратом, плавно перешло и на него. Говорили: это что за староста, который ходит, как мешком оглоушенный?!

Он и впрямь ходил и жил, словно ушибленный. Все было немилым. Вольная жизнь, о которой когда-то рассуждали они с Кондратом, теперь скукожилась, поблекла и не радовала. Чаще стали сниться странные сны – все, как на подбор, о прежней разбойничьей жизни, такие страшные и кровавые, что, просыпаясь, хватался рукой за грудь. Казалось, вот сейчас сердце через ребра на волю выскочит. Не зная, куда себя девать, он стал ходить к Кондрату. Приходил, садился, слушал бесконечное бу-бу-бу хозяина – и сам начинал разговаривать. Жаловался:

– Вот как оглобли развернулись, в обратную сторону, шиворот-навыворот, будто бы в прежних годах оказался. Сам-один, тоска съедает, хоть безмен бери да выходи на большую дорогу. Не выплясались наши хотелки, Кондрат, зря ты Умником себя прозывал. Как говорится, приехали с ярмарки, денег нет, и горшки вдребезги побиты. Сижу с тобой, разговариваю, а сам думаю и придумать не могу – куда мне теперь податься, где голову прислонить? Может, новую бабу завести? Как мыслишь?

Ответа Кондрат не давал. Только начинал бубнить быстрее и громче, размахивал руками, и слюни обильнее текли по бороде – это был первый признак, что он проголодался и требует еды.

– Ну, и прорва у тебя открылась, – досадовал Агафон, – как в бездонную бочку любой кусок летит! Потерпи, принесут, тогда и поешь, а у меня ничего нет, не кашеварю я нынче, так, всухомятку, обхожусь.

Когда Кондрат начинал уже голосить, Агафон, чтобы его не слышать, вставал и уходил из избы.

И однажды, выйдя на улицу, удивленно остановился. В округе-то, оказывается, весна в полную силу властвует: речушка взбухла и разломала лед, на солнечных пригорках первая трава проклюнулась, а воздух, стекая с горных вершин, обдает лицо теплом. Долго стоял, подняв голову в небо и закрыв глаза. Нежился, словно пребывал в сладком сне, и показалось ему в эту минуту, что вот тронется он сейчас с места, дойдет до своей избы, а там, как прежде: Ульяна хлопочет, ребятишки кричат и носятся возле крыльца... Сорвался, побежал, но по дороге одумался и сам себя окоротил: мертвых с кладбища не носят, мертвые в земле лежат.

Добрел до крыльца, сел на верхнюю ступеньку, нагретую солнцем, и неожиданно для самого себя заплакал. Ни одной слезинки не уронил, когда сгнули ребятишки, Ульяну в могилу опускал, глаза сухими оставались, а в этот день, теплый и ласковый, словно запруду прорвало – плакал не стесняясь, в голос, и слез не вытирал. Плакал, понимая, что не получилось у него доброй, счастливой жизни, сломалась она безвозвратно и никогда уже больше не вернется, как бы ни желал он этого. А виной всему – прошлые грехи. Висели на нем, как кандалы, накрепко заклепанные умелым кузнецом. Как их снять, как от них избавиться? Впервые задумался об этом Агафон, когда внезапно расплакался, сидя на крыльце возле своей пустой избы. Догадка эта, пришедшая ему столь же неожиданно, как и слезы, заставила совсем по-иному взглянуть на прошлую и нынешнюю свою жизнь. Будто перекрасилась она разом в другие, непривычные для глаза цвета. И были они успокоительными для сердца, которое так больно стучало в последнее время.

На следующий день, самолично обойдя деревенскую улицу, Агафон созвал всех на общий сход. Стоял на крыльце, на котором вчера еще плакал, смотрел на собравшихся людей, смотрел так, словно встретился с ними впервые, словно и не жил никогда рядом. Долго молчал, собираясь с духом, и кто-то из мужиков поторопил его:

– Долго стоять так будем, Агафон? Ноги-то у нас свои, не казенные, чего их зря мучить!

Но он все равно не спешил. Пытался придумать слова, чтобы прозвучали они ясно и понятно, но слова рассыпались, как неумело сложенная поленница, и никак не желали выстраиваться по порядку. Наконец он решился и сказал просто, даже не пытаясь чего-то объяснить или что-то подробно растолковать. Понял в последний момент: что бы ни рассказал, как бы ни объяснял, все равно его не поймут. Поэтому сказал так:

– Выбирайте себе нового старосту. А я отказываюсь.

Мужики зашумели, загомонили, но он их слушать даже не стал. Спустился с крыльца, прошел ровно посередине, рассекая толпу, и двинулся вдоль по улице, направляясь к предгорью.

– Ты куда, Агафон? – донеслось ему в спину.

– В землю! – не оборачиваясь, крикнул он в ответ.

6

Даже не верилось, что долгий, тяжелый путь остался позади. Когда выбрались из черноты на веселый цветущий луг и когда увиделись сверху серые крыши изб, Фадей Фадеевич приказал остановиться и первым слез с телеги, разминая затекшие ноги. Прошелся туда-сюда, приминая высокую траву, и довольным голосом высказался:

– Слава богу, добрались! Здорово живем, уважаемая деревня! Поверхностное знание о тебе имеется, а более обстоятельно начнем знакомиться прямо сегодня. Встречай гостей, хоть они и незваные...

Деревня, не имевшая своего имени, была особенной.

Мало того, что располагалась на самом краешке земель Российской империи, она еще и в казенных бумагах обозначилась лишь год назад. А до этого нигде не значилась, не числилась, никто из служилых чинов про нее знать не знал, и жили здесь люди, сами себе хозяева, без податей, без урядника и без всякой власти. Приземистые избы вольно стояли в небольшой впадине, образуя единственную улицу, которая тянулась вдоль берега горной речушки; за избами, чуть поднимаясь вверх, лежали большие огороды, отделенные от выпаса для скота длинной изгородью из сосновых жердей. Недалеко от деревни, на лугу, заросшем буйным разнотравьем, виднелась пасека.

Обнаружилась эта деревня совершенно нечаянно. Год назад чарынский урядник со стражниками преследовали воровскую шайку, которая угоняла у алтайцев скот. Народ в шайке подобрался бывалый и рискованный – уходили из-под самого носа, хитро запутывали следы и в конце концов так закружили, что служивые потеряли всякое направление. Заблудились, не зная, куда теперь ехать. Уже и на шайку плюнули – самим бы выбраться, но дорогу отыскать никак не могли и тыкались, будто слепые котятка, наугад в разные стороны. Забрались в самую глухомань – и ахнули от изумления: да тут, оказывается, деревня есть!

Встретили местные жители казенных чинов без особой радости, но и враждебности, даже если она и была, не показали. Накормили нежданных гостей, дали отдохнуть, а после даже проводника снарядили, который вывел их, указав дальнейший путь. Но вывел странно, такими кривыми зигзагами, что чертеж, нарисованный урядником, оказался никуда не годным: если бы ему строго следовали, никогда бы до деревни не добрались. Выручил Фрол, который махнул рукой на бумажку, посоветовал Фадею Фадеевичу использовать ее по иному назначению и повел махонький обоз по своему разумению и по своим, известным только ему, приметам.

В конце концов добрались.

Передохнули, огляделись и спустились в деревню, наделав в ней переполоха. Чужие люди здесь были столь же редким явлением, как снег и метель посреди лета. Поэтому, не в силах удержаться от любопытства, жители открывали ворота, выглядывали из-за заборов, иные даже шли рядом, указывая путь до избы старосты.

А вот и сам староста. Невысокий, кражистый, сильные, словно литые, руки сложены на груди, и взгляд из-под белесых бровей острый, быстрый, но непугливый. Фадей Фадеевич, поздоровавшись, принял его приглашение и прошел в ограду. Разговор, чтобы не с места в карьер скакать, начал издали: сначала рассказывал про долгую и трудную дорогу, затем стал жаловаться на переменчивую погоду – с утра дождь, перед обедом солнце, а теперь, после полудня, снова накрапывает...

– Да я и сам вижу, не ослеп пока, – усмехнулся староста, – не надо мне рассказывать, чего на улице делается. Ты уж, господин хороший, говори прямо – по какой надобности к нам заявились? Чего мы для тебя сделать должны, чтобы дальше спокойно жить?

Широкие ладони с растопыренными пальцами спокойно лежали на коленях, чувствовалась в руках немалая сила, и поэтому, наверное, староста был спокоен и невозмутим. Даже тени тревоги не промелькнуло на его лице, когда он увидел перед собой чиновника, пожаловавшего в деревню аж от самого губернатора.

– Как вас звать-величать? – поинтересовался Фадей Фадеевич, сделав вид, что не слышал вопроса старосты.

– Емельян! – Староста снова усмехнулся. – Ты не увиливай, господин хороший, скажи прямо – зачем приехал?

– А по батюшке как?

– По батюшке? Не помню я своего батюшку и знать никогда не знал, безродный я. Получается, что и отчества не имею. Так и запиши – Емельян. А в старосты меня выбрали всем обществом, бумаг про это не писали, да и нет у нас бумаги. Выбрали и все, без бумаг запомнили, кого выбрали. Так зачем приехал-то? Расскажи...

– Упорный ты человек, Емельян. – Фадей Фадеевич коротко хохотнул и даже головой покачал. – Расскажи, да расскажи... Рассказываю. Живете вы в государстве, именуемом Российской империей, есть у нас государь, Божьей Милостью, Николай Второй, а мы все, стало быть, подданные своего императора. А так как являемся мы подданными, то обязательно должны быть записаны в эти подданные со всеми своими домочадцами, с хозяйством, движимым и недвижимым, с землей, которой владеем, и обязаны платить подати и жить по порядку, установленному законами империи. Вот для этого я сюда и приехал. С завтрашнего дня начнем обход домов и перепись всех жителей, а равно их имущества, скота и прочего.

Беседовали они под легким навесом, накрытым берестой, который стоял на краю ограды. Сидели на толстых чурках, потемневших от времени и вросших в землю. Староста показался Фадею Фадеевичу похожим на одну из этих чурок – настолько невозмутим и прочен, что и пошевелить его, кажется, невозможно.

– По-нят-но! – Емельян хлопнул широкими ладонями по коленям и поднялся. – Кончилась наша вольная жизнь, теперь в хомуте будем ходить. Ладно, загоняйте подводы в ограду, дождь сильнее пойдет – промочит. Мешки в сени тащите, на вторую половину, там и спать будете. А я пойду, хозяйке скажу, чтобы на стол собрала.

В просторных сенях, срубленных из толстых, в обхват, бревен, было свежо, прохладно и пахло травами, пучки которых были развешаны по стенам. На пол уложили толстым слоем сухое сено, застелили его рядом, бросили подушки, которые принесла хозяйка, и лежбище для все получилось – лучше не придумать. Так и тянуло прилечь и нырнуть в сладкий сон. Но спать Фадей Фадеевич не позволил. Фрола, попросив у старосты литовку, отправил косить траву для коней, Мироничу поручил перенести груз из телег в сени, а сам с Лунеговым, приспособив широкую доску на чурках, сел и разложил большие бумажные листы, которые аккуратно были расчерчены на графы.

– Итак, вникай мой юный друг, в суть канцелярской работы. Первое. Все записи изначально заносим карандашом, чтобы имелась возможность внести исправления, а после уже будем переписывать набело, чернилами. В какой графе что указывать, надеюсь, сам разберешься, читать умеешь. Что касается самой переписи жителей и хозяйства, требуется соблюдать главное правило – на слово никому не верить, а пересчитывать самолично. Сказали, что пять душ в семье имеется, значит, следует всех проверить – по головам. И со скотиной так же, и с инвентарем. Если непонятно будет, спрашивай, подскажу. А для начала запиши все сведения о старосте, нашем хозяине. Дерзай, а я пока тут посижу.

Дождь, так и не собравшись, перестал капать, и лишь редкие капли тюкали по бересте навеса. Фадей Фадеевич, прищулив один глаз и склонив набок голову, прислушивался к этим редким тюканьям, и казалось со стороны, что сейчас он прищурит второй глаз и задремлет. Но нет, не задремал. Когда Емельян подошел к нему, сразу же встрепенулся и вскинул голову. Смотрел на старосту деревни строго и внимательно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.